

Глава XII

АНТРОПОЛОГИЯ РОССИЙСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ*

Непросто, но крайне полезно оценить трансформации и общественный процесс в России с точки зрения социально-культурной антропологии, которая изучает человека во всем многообразии создаваемых им социальных коалиций на основе этнографического метода, или метода включенного наблюдения. Во всем мире социально-культурные антропологи выполняют важные познавательные и экспертные функции, необходимые для самопонимания общества и для его управления. Управленческая потребность в антропологах особенно выросла в последние годы, ибо общества (имеются в виду прежде всего государства) становятся все более сложными по составу населения и организации и не только сохраняют, но и увеличивают свое культурное многообразие.

Без “домашней” антропологии сегодня невозможно обеспечить адекватную экспертизу трансформирующихся обществ, когда статистика, социологический опрос и политологический анализ не способны уловить характер и траекторию перемен. Только хорошо обученный антрополог может объяснить, что частная стратегия людей всегда была и будет выше любой “национальной идеи”, что желающих управлять всегда больше, чем желающих быть управляемыми, и поэтому “рваться к власти” – это естественно, что содержание и границы групповой культурной отличительности подвижны, что люди могут использовать этничность и так называемую историческую память в инструменталистских целях, и поэтому национальные, казаческие, языческие и прочие “возрождения” или “движения” должны восприниматься прежде всего как манипуляции активистов социального пространства. Не менее важен и просветительский аспект антропологии, когда современный взгляд на расу и этничность может помочь избежать

* Эта глава во многом повторяет мою статью под тем же названием, которая была опубликована в разных изданиях, в том числе в переводе на английский язык (Общество и экономика. 1999. № 3–4; Этнографическое обозрение. 2000. № 1). *Tishkov V. The Anthropology of Russian Transformations // Anthropological Journal on European Cultures. Vol. 8. 2000.*

этноцентризма, ксенофобии и насилия, которые заявили о себе на территории бывшего СССР в последнее десятилетие.

Если в центре нашей дисциплины стоит изучение человека, то, видимо, обращение к его антропологической сущности должно быть одной из отправных точек анализа. Человек как существо социальное рождается в этом мире, чтобы исполнить свое первичное предназначение – обеспечить благоприятные условия собственного существования: дольше и комфортнее прожить, произвести и вырастить потомство, обеспечить свой статус и безопасность, удовлетворить культурные запросы, исполнить идеологическую миссию, если его в нее рекрутировали. Для этого человек вступает в сотрудничество и соперничество с себе подобными. С этой целью он создает всевозможные социальные коалиции и институты, начиная от семьи и кончая государством. Данные усилия человека направлены на производство и обладание как можно большего объема ресурсов, включая территорию, материальные и духовные ценности, здоровье, образование, связи, власть, статус – все, что называется “реальным” и символическим капиталом.

Эти постулаты хорошо известны антропологам применительно к прошлым, особенно к древним или к так называемым племенным сообществам. Но мы оказались слабыми знатоками антропологии современных обществ, в которых прошла или проходит наша собственная жизнь.

СОВЕТСКОЕ И ПОСТСОВЕТСКОЕ

Сегодня можно только поражаться насколько слабы объяснительные модели советского общества, просуществовавшего много десятилетий. В этом вопросе преобладают или политизированные постфактические рационализации и литературные метафоры о “советской империи”, СССР как “тюрьме народов”, “всеобщем ГУЛАГе”, или инерция советской пропаганды, дополненная риторикой жалоб старшего поколения, среди которых присутствуют и представители науки. Главная слабость объяснений советского общества – это утверждение о его исключительности и аномальности, вызванное проекциями оценок политического режима и его идеологического багажа на все общество, его нормы и ценности.

При всех социальных деформациях и политических аномалиях СССР был не менее легитимным государством, чем другие страны Азии, Африки, Латинской Америки и даже Европы. Более того, советское общество, вернее советский человек, в своих

базовых проявлениях, в своих частных и коллективных стратегиях имел гораздо больше общего, чем отличительного, с членами других государственных образований, включая и те, которые представляются европейской научной традицией как “нормальные общества”. Это общее находило отражение в повседневном стремлении к личному преуспеванию, в создании и функционировании семейно-родственных союзов, этнических и профессиональных коалиций, в эмоционально-психологических установках и, наконец, в формах девиантного поведения, включая тривиальное воровство и внебрачные связи.

Как отмечает английский антрополог Крис Ханн в работе по антропологии социализма, «в большинстве стран (имеются в виду социалистические. – В.Т.) на протяжении большей части времени большинство “простых людей” просто воспринимали систему как данное, приспособились к ней и продолжали жить без вступления в ряды коммунистической партии или диссидентской группы. Другими словами, они “карабкались по жизни” (*muddled through*) точно так же, как люди это делает в другого рода обществах”¹.

В советское время что-то было задавлено – например, гражданские права и свободы, уважение человеческой жизни. Что-то, наоборот, спонсировалось – к примеру, социальный коллективизм, профессиональная культура и образование. Что-то было просто недостижимо в силу идеологии неэффективного хозяйствования и плохого управления, как, например, личное богатство, обустроенная среда обитания, достойная бытовая культура и пространственная мобильность. Но даже в этой своей “социалистической” отличительности Россия была до тривиальности похожа на многие другие общества, а метафора *Homo sovieticus* (или “совок”) утвердилась уже позднее и стала скорее саморефлексией, чем внешней категоризацией. На пороге XXI в. приходится признать, что отечественная наука упустила этнографию “советскости” и этот долг предстоит вернуть как можно скорее, пока не исчезла “традиционная” культура советского времени.

При этом следует учесть, что представители близких дисциплин (историки, социологи, культурологи) уже выполнили некоторые важные исследования в этой области или же издали новые архивные источники, а также результаты прошлых социологических исследований в обновленной интерпретации. Этнологам полезно соотнести некоторые свои изыскания и выводы с этими результатами. Так, например, интерес представляют социологические исследования советского времени, в том числе начальные этапы так называемой этносоциологии, родившейся практически в стенах Института этнографии АН СССР². Мое внимание при-

влекла недавняя работа Б.А. Грушина о массовом сознании россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина, которая содержит материалы социологических исследований с начала 1960-х годов. Исходная посылка видного отечественного социолога в чем-то совпадает с моей: “Главной формой знания о современной России является, скорее, незнание о ней”³. Подтверждение тому Б.А. Грушин видит в “бесконечных ошибках – политических, экономических, – связанных с оценкой состояния сознания масс, которые постоянно на протяжении всех перестроечных и постперестроечных лет совершались и совершаются подавляющим большинством практиков (политиков, управленцев) и аналитиков (ученых, журналистов)”. А природа этих ошибок заключена в предлагаемых решениях и прогнозах, “базирующихся на неадекватных представлениях о реалиях”, которые “приходят в вопиющее противоречие с той социальной материей, которая именуется российским обществом, и потому по определению обречены на провал: они постоянно и решительно отторгаются обществом то как абсолютно чуждые ему, то как противоречащие интересам значительных групп и слоев населения, то как хотя и привлекательные, заманчивые, однако совершенно непосильные для исполнения”⁴.

И здесь начинается наше серьезное расхождение с классически изложенной позицией так называемого социологического реализма, основанного на постулате, что “общественное мнение является зеркалом жизни общества”, а социология, включая профессиональные замеры этого мнения, отражает эту жизнь бесстрастным взглядом и не более того. Важно только в объяснительных усилиях корректно перейти “от мнения к пониманию”⁵. Все-таки, если задавать вопрос “как Вы сводите концы с концами в этой жизни?” или что-то в этом роде, это значит заранее получать соответствующие заданному представлению и ответы: общественное мнение или “реалии” – это формирующаяся субстанция и парадигма кризиса сначала изначально присутствует в представлении эксперта, а уже затем – в голове опрашиваемого, а не наоборот.

Не меньшая потребность существует в познании “постсоветскости” как уже новой культурной традиции, особенно смысла глубоких общественных трансформаций в России⁶. Сразу же выскажу мнение, что установка на радикальную социальную инженерию (чем, кстати, люди и государства занимаются довольно часто в истории⁷) была не только оправдана, но, несмотря на грубые ошибки, обеспечена в экспертном плане, как ни старается каждое новое правительство и оппозиция отрицать уже сделанное, а академический истеблишмент – громить “безграмотных

завлабов”. Однако исполнители и толкователи российских реформ плохо знали и недостаточно учли антропологический аспект общественной жизни, а именно частную стратегию человека и создаваемую им социокультурную среду, включая мироощущение. Самыми фатальными оказались идеалистическое представление о природе самого человека (обязан честно трудиться, любить родину, “служить нации”, заботиться о других, не должен воровать, и т.п.) и вера в то, что улучшение условий жизни обязательно ведет к адекватному восприятию этих улучшений.

Российское общество – советское и постсоветское – в этом плане имеет характерное отличие. При высокой образованности населения оно сильно идеологизировано, ибо имеет непропорционально большую и крайне претенциозную культурную элиту (“инженеры человеческих душ”), которая довольно успешно узурпирует массовое сознание в пользу своих субъективных представлений и во многом определяет поведение рядовой массы граждан, привыкших к одномерному мышлению и вере в одну версию событий, исходящую из “центральных” газет и телевидения. Однажды французский философ Мишель Фуко, отвечая на вопрос о роли радикальной интеллигенции в процессах общественных преобразований, сказал: “Главная проблема – это как избежать излишнего воздействия интеллектуалов, носящихся со своими утопическими проектами, и позволить управленцам делать свое дело по переустройству общества”⁸. В России сделать этого не удалось. В “перестроечные” годы театральные режиссеры, писатели, актеры, журналисты и литературоведы выступали как законодатели, авторы “обустройства России” и как главные колумнисты ведущих газет и, наконец, как “совесть нации”, чтобы исповедовать ее лидера, или как “светлая голова” в телевизионной аналитике.

Что касается академического сообщества, то здесь лидирующая роль принадлежит макроэкономистам и специалистам по “народонаселению”. Ряд известных ученых стали наиболее последовательными выразителями негативистского взгляда на процесс реформ в России и с этой устойчивой репутацией осознанно или неосознанно выполняют своего рода социальный заказ на воспроизводство угроз для поддержания властью определенной консолидации общества. Меня поразили слова, однажды сказанные ведущим “методологом-политтехнологом” из высшего экспертного сообщества: “Вы думаете, что Римашевская случайно попала на заседание Совета безопасности с ее докладом о демографическом кризисе в России и угрозе нелегальной иммиграции? Это не она ввела в заблуждение совбез, а совбезу и ближайшему окружению президента, скорее, нужно было”.

В чем причина сегодняшних акций протеста части населения? Если верить большинству политиков, ученых и масс-медиа, а значит и “человеку с улицы” (в современном обществе здесь разрыва почти не существует), это – протест против антинародного режима и невыносимой жизни. Но если перестать повторять бесконечные заклинания о “нашем тяжелом времени”, во что теперь верят практически все, то этнография российской жизни выглядит иначе. Прежде всего следует сказать, что сама власть, т.е. управленцы, и эксперты – ученые, в годы правления Михаила Горбачева и Бориса Ельцина не поняли многого, что пришло в общество вместе с процессом радикальных перемен. Они верили и продолжают верить, что социальный порядок и поведение граждан меняются вслед за изменением характера политического устройства и экономическими реформами. А если этого не происходит, значит, режим не тот (“построили криминальное государство”) и курс реформ неверен (“ограбили народ и устроили геноцид”).

До сих пор никто не смог грамотно объяснить, что по причине политических мотивов или пропагандистского воздействия люди, в том числе обладающие научными званиями, могут психологически не замечать и даже отрицать реальные свободы и жизненные улучшения. Но самое главное, быстрые жизненные перемены могут “перегрузить” сознание отдельного человека и общества в целом настолько, что даже улучшение условий существования может отвергаться ими в пользу более привычного уклада. Как пример – одно из многих писем в газеты, 55-летней Анны Малаховой из Липецка: “Было у всех по 120 рублей, и ясно – на что потратишь. А теперь смотришь, девчонка лет 18 – за рулем какой-нибудь иномарки... Нам это надо? Мне – нет. Мне – хлеб по 20 копеек, зарплату 120 рублей и чтобы спать спокойно”⁹. Тем не менее на основе собственных полевых наблюдений я могу утверждать, что за последние 10 лет в стране произошла революция в жизненном обустройстве людей, а позитивные социально-культурные перемены не имеют аналогов в истории¹⁰.

ДЕМОГРАФИЯ КАК ПОЛИТИКА

Для иллюстрации тезиса “Россия в обвале” чаще всего приводят данные о катастрофических демографических потерях, уменьшении численности “государствообразующего” народа – русских, иммиграции как угрозе “традиционному” образу жизни и безопасности и т.п. Однако если анализировать демографические процессы последнего десятилетия более спокойно, то следу-

ет сказать, что сам факт снижения общей численности населения страны не должен рассматриваться как однозначно негативное явление. Многие страны мира, особенно из числа наиболее благополучных, имеют в последние десятилетия отрицательный показатель роста населения. Да и мир в целом больше озабочен неконтролируемым ростом населения, особенно в бедных странах, ибо мировые ресурсы жизнеобеспечения и развития не беспредельны (включая, кстати, не только природные энергоресурсы, но и такие ключевые источники питания, как пресная вода и мясо). В то же самое время многие страны, особенно из числа развитых, озабочены ростом собственного населения как условия нормального экономического развития и социального воспроизводства. Те из стран, которые принимали меры по сокращению рождаемости, как, например, Китай, сегодня столкнулись с тяжелыми демографическими проблемами.

В России фактически наблюдается ситуация нулевого роста, и общая численность жителей страны, по данным переписи 2002 г., составила 145,2 млн человек (147 млн в 1989 г.)¹¹. На самом же деле современное население на 2–3 млн больше, ибо в стране находится большое число не учитываемых статистикой бывших советских граждан из других государств (Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Украины, Молдовы). Подавляющее большинство их – это молодые мужчины, которые трудятся в сфере обслуживания, строительства, торговли и приносят огромную пользу стране. Без них не были бы осуществлены многие стройки и не было бы фруктов на рынках и в магазинах российских городов.

Миграционные фобии представляют собой довольно сложный в социально-культурном смысле феномен современного российского общества. Существует миф, что в Россию после распада СССР хлынул поток мигрантов из других новых государств. На самом же деле прирост увеличился не потому, что в Россию въезжало больше мигрантов, а потому, что из нее меньше выезжало. Собственно же миграция сокращается. Если за 1981–1990 гг. в Россию из бывших союзных республик прибыло 8,9 млн человек, то за 1991–2000 гг. – всего 6,9 млн. Даже если сделать поправку на неполноту учета миграции между новыми независимыми государствами в 90-е годы, едва ли можно оспорить факт сокращения (а не роста, как часто думают) притока мигрантов в Россию¹². Поэтому объявленный по итогам переписи 2003 г. новый образ России как страны привлекательной для миграции и занявшей третье место в мире среди стран, принимающих мигрантов, является только отчасти корректным, ибо таковой Россия была и в предшествовавший период. Более того, со второй

половины 1990-х годов иммиграция в страну неуклонно уменьшается, что говорит о неэффективной миграционной политике в ее должном предназначении не сдерживать, а обеспечивать иммиграцию. Налицо разительная раздвоенность установок и действий в данной сфере со стороны политиков и тех, кто обеспечивает принятие политических решений: с одной стороны, удалось хотя бы декларативно утвердить представление о желательности и даже жизненной необходимости достаточно массовой иммиграции, с другой – повседневные установки и конкретная деятельность носят обратный характер – чем меньше мигрантов, тем лучше.

Чем вызваны антимиграционистские установки среди значительной части населения и действия со стороны федеральных и многих региональных властей? На мой взгляд, здесь присутствуют как декларируемые причины (угроза безопасности, распространение болезней, разрушение “традиционного” образа жизни), так и скрытые и даже плохо осознаваемые причины, которые требуют своего анализа. К числу скрытых причин я бы отнес целый набор мотиваций и сугубо материального интереса со стороны использующих труд и услуги временных мигрантов и новожителей или пребывающих с ними в конкурентных отношениях. Недооплаченный труд, прямые обманы и поборы приносят огромные дивиденды работодателям как в лице частных и государственных структур, так и отдельным гражданам, которые используют дешевый труд мигрантов при строительстве и ремонте жилья, в сфере частных семейных услуг (детские няни, уборщики квартир). Держать мигрантов в страхе и бесправном положении означает обеспечить более низкие расценки их труда или же совсем лишить платы, сдав милиции на предмет уплаты штрафа или депортации. Пока недостаточно ясна картина антимиграционизма и фобий, культивируемая мелкими торговцами и предпринимателями из числа местных жителей, но здесь также присутствует элемент разрушения или ослабления конкуренции. Наконец, есть социально-психологический аспект, связанный с завистью к преуспевающей или просто к непьющей и усердно работающей части мигрантов. “Чего им здесь у нас надо: даже по воскресеньям работают как одержимые”, – сказал в сердцах один из моих соседей по деревне Алтухово в адрес группы строителей, нанятых местным дачником.

Наблюдавшаяся в последнее десятилетие естественная убыль населения (здесь сказались воздействие неблагоприятного демографического цикла и рост жизненного уровня людей) почти наполовину была компенсирована миграционным приростом населения, качество которого (возраст, образование, профессиональ-

ный состав) несколько выше качества основного населения страны. Такая иммиграция может только приветствоваться, хотя с ней связаны социально-психологические и культурные проблемы интеграции новожителей в местах переселения, ибо старожилы обычно негативно воспринимают изменение привычного состава населения.

Однако до момента очевидного процветания России массовая иммиграция ей не грозит, ибо этот процесс (как и эмиграция из страны) носит в своей основе экономический характер, хотя может принимать формы идеологической аргументации (“воссоединение с собственным народом”, “возврат на историческую родину”, “изгнание” и пр.). Наивная установка правительства Е. Гайдара, что в Россию как на “историческую родину” должны прибыть 7–8 млн русских, которые помогут поднять российскую сельскую глубинку, не оправдалась. Приехало гораздо меньше, в основном горожане, которые почти никогда не переселяются в сельскую местность, если только не на временное жилье. Каковы перспективы иммиграции, сказать сложно, но Россия останется принимающей страной по ряду причин, и прежде всего по этнокультурным и экономическим. Причем в страну будут мигрировать не только этнические русские, украинцы, белорусы и татары, но и представители народов Средней Азии и Закавказья, если противники миграции не введут ограничительные квоты.

Примечательным в демографической ситуации является устойчивое соотношение между городским и сельским населением на протяжении всего десятилетия (73 и 27%). Плохо это или хорошо? Скорее плохо, ибо чем более развито общество, тем меньше людей должно быть занято в сельском хозяйстве. Модернизация – это прежде всего урбанизация, и этот процесс замедлился после 1989 г. в значительной мере из-за отсутствия настоящей аграрной реформы и более конкурентной среды на рынке труда в городах. Последнее удерживает сельчан от когда-то легкого шага к пополнению городской “лимиты”. Как сказал мне мой молодой сосед по рязанской деревне Алтухово, “уехал бы, но теперь в городе с работой тоже плохо, а квартиры вообще перестали давать”. Однако отметим, что замедление процесса урбанизации наблюдается во всех развитых странах.

Столь же стабильным оставалось на протяжении последнего десятилетия соотношение мужчин и женщин (47 и 53%). Эта достаточно большая диспропорция представляет собой негативное явление, но в предыдущие десятилетия положение было не лучше. Причина диспропорции не столько в особенностях биологического воспроизводства населения, сколько в более высокой

смертности среди мужчин по социальным причинам (алкоголизм, курение, травматизм, убийства).

За 10 лет произошли существенные изменения в пространственном движении населения. Общая интенсивность внутренних миграций снизилась из-за экономической нестабильности и прекращения практики оргнаборов на крупные стройки в периферийных регионах. Зато частные интересы людей опять же пришли в противоречие с политическими установками и наивными проектами. Речь идет о слабой заселенности Севера, Сибири и Дальнего Востока. На самом деле усиленное заселение неблагоприятных для проживания людей арктических и субарктических районов страны в предшествовавшие десятилетия носило характер непрямого насилия (через романтическую пропаганду, “длинный рубль”, сохранение московской прописки). Начавшаяся в конце 1980-х годов “человеческая конверсия” Севера стала вполне нормальным явлением к неудовольствию огромной армии чиновников и торговцев, занятых “северным завозом”.

В основе этот процесс носит благотворный характер: россияне переезжают в местности с более благоприятным климатом, где могут легче (дешевле) и дольше прожить, снижается нагрузка на хрупкую природную среду и сохраняются важные ресурсы для будущих поколений, открывается больше возможностей (в том числе и благоустроенного жилья) для остающегося на Севере населения, а тем более для аборигенных жителей, для которых эта среда является родной. В Южной Сибири и на Дальнем Востоке складывается несколько другая ситуация: тут возможны и даже необходимы действительно массовое заселение и новое освоение. Причем не только через индустриальные метапроекты (охрана среды и ресурсов здесь столь же актуальна), но и через своего рода систему гомстедов, т.е. наделение граждан за символическую плату участками земли.

Кстати, в сибирских и дальневосточных регионах естественная убыль населения меньше, чем в среднем по стране, а в некоторых районах сохраняется естественный его рост (Республика Алтай, Тюменская область, Тува, Якутия, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Таймырский, Усть-Ордынский Бурятский, Агинский Бурятский, Чукотский автономные округа). По нашим оценкам, за период после переписи 1989 г. численность коренных народов Севера и Сибири не уменьшилась, а существенно увеличилась. Принятие в апреле 1999 г. Закона “О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации” даст мощное пополнение этих групп за счет потомков смешанных семей и культурно-ассимилированных граждан. Воспаленная риторика о вымирании северных народов беспочвенна, хотя коллапс

системы государственного патернализма и разгул нового предпринимателя (от охотника-”европейца” до нефтегазовых корпораций) создали огромные проблемы для сохранения систем жизнеобеспечения и культуры аборигенных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Заметный рост этой части населения, высокая доля межэтнических браков, проживание в смешанной среде ведут к тому, что субъектом политики в отношении народов этих регионов должны стать не “этноты”, а аборигенные общины, а целью политики – развитие через культурно-ориентированную модернизацию а не через “возрождение” и “сохранение”.

ЭТНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЭТНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ

В России этнический аспект демографии наиболее чувствителен по причине не столько самого факта культурного многообразия, сколько длительного опыта огосударствления этничности. Здесь политические спекуляции невероятны, а в оценках ученых господствует старая схоластика. Во-первых, в стране сохраняется старая практика жесткого и официального деления граждан на народы, или национальности, и поэтому этническая статистика играет политическую роль точно так же, как и сохраняющаяся расовая статистика в США, хотя именно американское академическое сообщество успешно инициировало отказ от понятия “раса” как научной категории. Во-вторых, остается клише: сколько “наций и народов” живет в том или ином месте или работает на том или ином заводе – и этот подсчет ведется навязчиво не только через переписи населения, но и через кадровые и жэковские анкеты. В-третьих, так называемая национальная структура (имеется в виду этнический состав населения) – это часто единственное средство для обоснования этнократического правления и политической мобилизации граждан.

Трудно сказать, что является нормой или позитивным процессом в этнической демографии, но одно бесспорно: сохранение этнического многообразия страны. Не существует некоей оптимальной пропорции между этническими группами, составляющими одно государство. Возможно, спокойнее жизнь в этнически гомогенных странах, но таковых в мире почти нет. Более проблемными являются государственные образования, где имеются две–три равные по численности группы, каждая из которых претендует на контроль центра. Самый распространенный вариант – страны с одной демографически- и культурно-доминирующей

группой и группами меньшинств. К этой категории относится и Россия. Естественно, что нет ни одного государства с жесткой номенклатурой этнических общностей и в каждом государстве процессы ассимиляции происходят обычно в пользу доминирующей культуры. Для России – это русская культура и русский язык, а если говорить точнее – российская культура на основе русского языка.

К чести нашей страны ни в прошлые десятилетия, ни в годы трансформаций не произошло того, что называют “вымиранием” народов. Даже самые малые группы, в том числе и коренные, малочисленные народы, за последние годы сохранили или увеличили свою численность. Причем следует учитывать, что она меняется в результате не только естественного движения населения (рождаемость и миграция), но и смены идентичности. В начале процесса реформ мне представлялось, что к новой переписи самую большую демографическую потерю понесут русские из-за снижения престижности быть русским, особенно в пределах этнотерриториальных образований (республик и округов). Но этого не произошло, по крайней мере в драматической форме: считаться русским для потомков смешанных браков продолжает быть более (или в равной мере) престижным даже в российских республиках. В Татарстане, например, в последние годы дети из смешанных татарско-русских семей записывались примерно поровну в ту или другую группу. В итоге доля этнических русских в России снизилась менее чем на 2% и составляет 80%, но эта доля сохранилась благодаря иммиграции русских из других постсоветских государств.

Первичные данные переписи 2002 г. говорят о достаточно серьезных изменениях в этнической структуре российского народа, которые произошли с момента переписи 1989 г. Речь идет о своего рода “подвижках” в численной иерархии 23 самых крупных этнических общностей, по которым Госкомстат объявил данные и которые составляют 96% населения страны. В табл. 4 мною курсивом выделены группы, которые уменьшили свою абсолютную численность. Это – русские, украинцы, чуваша, мордва, белорусы, удмурты, марийцы, немцы. В эту же группу войдут обязательно евреи и еще несколько этнических групп. Причины сокращения численности – в отрицательном естественном росте (превышении смертности над рождаемостью), а в наиболее драматических случаях – также и в эмиграции или в переселении (немцы и евреи, частично украинцы и белорусы).

Среди некоторых этнических групп наблюдался нулевой рост, и их численность осталась примерно такой же, как и в конце 1980-х годов. Это – татары, чуваша, казахи, марийцы, буряты,

Таблица 4. Этнический состав населения Российской Федерации

Национальность	2002 год		1989 год		Прирост в 2002 г. к 1989 г., в %
	тыс. человек	% к итогу	тыс. человек	% к итогу	
Все население	145 164,3	100,00	147 021,9	100,00	98,74
<i>Русские</i>	115 868,5	79,82	119 865,9	81,54	96,67
Татары	5558,0	3,83	5522,1	3,76	100,65
<i>Украинцы</i>	2943,5	2,03	4362,9	2,97	67,47
Башкиры	1673,8	1,15	1345,3	0,92	124,42
<i>Чуваши</i>	1637,2	1,13	1773,6	1,21	92,31
Чеченцы	1361,0	0,94	899,0	0,61	151,39
Армяне	1130,2	0,78	532,4	0,36	212,28
<i>Мордва</i>	844,5	0,58	1072,9	0,73	78,71
<i>Белорусы</i>	814,7	0,56	1206,2	0,82	67,54
Аварцы	757,1	0,52	544,0	0,37	139,17
Казахи	655,1	0,45	635,9	0,43	103,02
<i>Удмурты</i>	636,9	0,44	714,8	0,49	89,10
Азербайджанцы	621,5	0,43	335,9	0,23	185,03
<i>Марийцы</i>	604,8	0,42	643,7	0,44	93,96
<i>Немцы</i>	597,1	0,41	842,3	0,57	70,89
Кабардинцы	520,1	0,36	386,1	0,26	134,71
Осетины	514,9	0,35	402,3	0,27	127,99
Даргинцы	510,2	0,35	353,3	0,24	144,41
Буряты	445,3	0,31	417,4	0,28	106,68
Якуты	444,0	0,31	380,2	0,26	116,78
Кумыки	422,5	0,29	277,2	0,19	152,42
Ингуши	411,8	0,28	215,1	0,15	191,45
Лезгины	411,6	0,28	257,3	0,18	159,97
Другие и не указанные национальности	5780,0	3,98	4036,1	2,70	143,21

а также, по моему предположению, многие другие группы, по которым еще неизвестны результаты переписи. Символически важен случай с татарами, численность которых выросла всего на 36 тыс., и при варианте публикации итоговых материалов, когда так называемые “подгруппы” (кряшены и сибирские татары) могут быть выделены как самостоятельные народы, именно этот минимальный прирост может исчезнуть. Для 5-миллионного народа – эта разница демографически не является значимой, но для политиков, особенно для татарских националистов, символиче-

ски важно – растет или “вымирает” татарская нация за последние годы.

Часть крупных народов увеличила свою численность, причем некоторые – довольно значительно, почти в два раза и даже более. Это – армяне, азербайджанцы, ингуши. Первые две группы увеличились прежде всего за счет масштабной иммиграции в Россию. Что касается ингушей, то относительно высокий естественный прирост едва ли мог дать такой рост и здесь возможны тривиальные приписки в ходе переписи, ибо смена самосознания в пользу ингушей за счет какой-либо другой национальности фактически исключена. Увеличение численности дагестанских народов (аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин и других, включая малочисленные народы Дагестана) произошло почти исключительно за счет естественного прироста, как и других народов Северного Кавказа (осетин, кабардинцев и других), хотя и здесь возможны были приписки или двойной счет¹³.

Данная ситуация среди населения считающихся бедными районов страны говорит о том, что так называемое вымирание народов прямо не связано с состоянием условий жизни. Более того, исчезновение народа (факт очень распространенный, но в России редкий) означает чаще всего не депопуляцию или физическое исчезновение представителей определенной культуры, а смену носителями культуры этнической идентичности.

Хорошо или плохо, что демография периода трансформаций отмечена более быстрым ростом численности северокавказцев, а значит, сокращением доли русских (кстати, татар и чувашей также) в общем населении страны? К сожалению, это вопрос скорее спекуляций и профессионально его никто не осмелится обсуждать¹⁴. Какова доля русских в стране – не вопрос жизненной стратегии государства. В дореволюционной России и в СССР русские никогда не составляли более 55%, но государство существовало и распалось не по этой причине. Сейчас по доле самой большой этнической группы – русских – Россия почти такая же моноэтническая страна, как и Китай, где кроме 90% ханьцев имеется не менее 100 млн представителей разных национальностей. Подавляющее демографическое господство одной группы мало что дает для крепости государства, ибо даже 1% населения и территории, который составляют чеченцы и Чечня в России, способен стать базой вооруженной сепаратистской и масштабной войны. Действительной проблемой является высокая рождаемость в горных дагестанских и других северокавказских селах, где недостаточно ресурсов, а завышенные социальные ожидания и неприятие бедности вызывают напряженность, конфликты и выход граждан из правового пространства. Серьезную проблему пред-

ставляет выезд нетитульного (прежде всего русского) населения из республик Северного Кавказа¹⁵, ибо это ведет к демодернизации и к росту межэтнического и внутриэтнического соперничества.

Демография зависит от бюрократической и статистической процедуры. В фиксации этнического это особенно важно. Когда меня спрашивают, сколько народов живет в России, или когда я слышу очередную цифру, выученную политиком, то отвечаю: “В России живет столько народов, сколько Вам хочется”. Культурных идентичностей людей существует много, равно как и языковых различий, особенно если перевести некоторые языковые системы коммуникаций людей из разряда диалектов в разряд языков. Эти идентичности многоуровневые и не взаимоисключают друг друга, они могут носить местно-общинный (карамахинец), локально-этнический (тоджинец, андиец), национально-этнический (*аварец, даргинец*), регионально-культурный (*дагестанец, татарстанец, якутянин*), культурно-гражданский (*россиянин*) характер. Это не разные общности в смысле членства (глубокое заблуждение отечественной экспертизы), а оформляемые человеком коалиции, по которым его самосознание совершает дрейф лояльности или может пребывать во всех ментальных ипостасях одновременно. Стоило поменять процедуру фиксации мордвы, как для будущих ученых – сторонников теории этноса и этнических процессов – “вымер этнос” или совершилась “парцелляция этноса”: вместо мордвы появились эрзя и мокша, а мордва осталась только за пределами Мордовии. На самом деле в этнокультурном профиле представителей данной группы ничего не изменилось, кроме некорректной формулировки статистиков. В России остались и продолжают жить граждане, которые в местном сообществе проводят между собой довольно четкое (основанное на языке) различие, а во внешнем окружении ощущают себя мордвой, в том числе и по той причине, что воспринимаются другими как мордва, а не эрзя или мокша. Но как показали мои беседы с эрзянскими активистами в Саранске в июле 2002 г., среди этой части жителей имеются представления, что эрзя может быть только эрзя, а мордва – это изобретение “русских колонизаторов”.

Многоуровневая и подвижная культурная идентичность в условиях идеологической либерализации и процветающего этнонационализма – это новая реальность, и в будущем могут появиться десятки “новых этносов”: людям будет интересно или важно знать, по какой-то причине считать себя булгаром, аланом, помором, калмаком, сойотом и еще кем-то, о чем он прослышал в семье, подсмотрел в семейных фото, прочитал в книге или услы-

шал на митинге. Перепись 2002 г. дала общий рост численности российских национальностей со 128 до примерно 160 главным образом за счет включения в итоговый список малочисленных групп, до этого включавшихся в более крупные общности (“нации”). Это значимый для людей и для науки процесс, но только государство должно меньше всего лезть в него с бюрократической процедурой, а тем более с кадровой анкетой. В целом же период реформ в России связан с серьезными демографическими проблемами (прежде всего относительно высокая смертность, особенно среди мужчин и детей), но ни одна из них не может квалифицироваться как катастрофическая.

ПИЩА, ОДЕЖДА, ЖИЛИЩЕ

Каждый антрополог знает, что пища, одежда и жилище – это три столпа материальной культуры, а состояние здоровья – основной показатель уровня модернизации общества. Этими категориями далеко не ограничивается жизнь современного человека, ибо есть еще огромный мир других используемых вещей и услуг, как и мир ощущений и духовных ценностей. И все же основное население живет повседневными заботами материального обеспечения, которые лежат в основе уровня и качества жизни. Некоторые вопросы постсоветской материальной культуры заслуживают внимания.

На протяжении всей истории России ее население (за исключением южных районов) имело достаточно небогатую кухню со скромной пищей, в которой был явный недостаток витаминизированной углеводной пищи, прежде всего фруктов. Свои первые в жизни апельсин и банан я съел, уже будучи студентом МГУ, ибо в небольшом уральском городке, кроме яблок и новогодних мандаринов, фруктов не продавали. Сегодня в этом городке, которому очень далеко до экономического процветания, все те же азербайджанцы обеспечивают хороший рынок основных фруктов и фруктовых соков, которые жители регулярно покупают (иначе бы не привозили!). Абсолютно новый и огромный по своим номенклатуре и размерам ввоз в страну фруктов внес историческое изменение в структуру питания россиян. Безусловно, увеличилось потребление рыбы, даже если официальная статистика не показывает этого по причине “внесистемной” добычи и продажи этого продукта. Возросло потребление сыров и колбасных изделий (опять же в основном за счет импорта), и население уже забыло времена плавленых сырков “Волна” и буфетных сарделек.

Снижение потребления мяса, молока и яиц мало о чем говорит, как и возможное общее снижение потребления продуктов питания. В последние десятилетия население страны не страдало недоеданием. Иначе не было бы на порядок больше по сравнению с дистрофиками людей с излишним весом. Люди страдали от несбалансированной структуры питания, однако если этот дисбаланс выравнивается не только за счет сокращения общего потребления продуктов (в некоторых семьях, например, практически прекратили покупать яйца), но и расширения при этом ассортимента потребляемых продуктов, то этот процесс скорее носит позитивный характер. В подтверждение можно назвать снижение количества потребляемой дешевой колбасы в пользу ее более дорогих и качественных сортов.

Не менее важным является изменение в системе организации питания. Современный человек готовит и потребляет пищу не только дома, но и из через общественные системы питания. Еще 10 лет тому назад огромной проблемой для небогатого гражданина было пообедать на Невском проспекте в Ленинграде или на ул. Горького в Москве, не говоря уже о провинциальных городах. Унизительные очереди в грязные уличные пельменные, рабочие столовые и институтские буфеты отнимали время и здоровье. Рестораны служили не для того, чтобы поужинать, а чтобы “гулянуть”. Сегодня ситуация с “общепитом” совсем иная. Резко выросло общее число ресторанов и кафе, не говоря о новой культуре уличных продуктовых ларьков и палаток, одиночных частных торговцах разной едой на улицах и дорогах. В 2002 г. московский справочник содержал данные о почти 4 тыс. ресторанов, кафе и барах. Всего же по стране возникло не менее 100 тыс. новых “точек общепита”. Впервые в таких масштабах люди в России стали есть и пить за пределами дома, в том числе в семейном варианте (с детьми), и это – огромная перемена в народной культуре.

Еще одна разительная перемена в жизни людей за последние годы – радикальное расширение используемых предметов быта и социальных благ. Их номенклатура (так называемые *вещи*) – это крайне важный показатель сложности и степени модернизации общества. Хотя количество окружающих и используемых человеком вещей необязательно определяет мораль и ценности общества и делает человека счастливым, все же в целом это так. Безусловно, чем больше в его повседневной жизни вещей, тем лучше ее качество, даже если в некоторых культурах, как, например, в японской, можно встретить иную мораль, что, кстати, неравносильно реальному поведению. Особенно это касается быта, что прямо связано с комфортом, гигиеной и здоровьем людей. Некоторые перемены в этом плане могут казаться малозначи-

мыми, тем более, что они не столь связаны с макроэкономическими успехами и личными средствами. Если за последние 10 лет миллионы людей стали пользоваться туалетной бумагой, а не смятой газетой, чистить зубы (оказывается, бывают щетки мягкие, средние и жесткие!) разными пастами, пользоваться шампунями (для разных волос, для взрослых и детей, с ополаскивателем и без него), то только одно это принципиально изменило бытовую культуру к лучшему. Мой подсчет по рекламной газете г. Иваново – далеко не самого динамичного областного центра – дал следующие общие цифры видов предлагаемых товаров (предметов и названий): мебель и другие товары длительного пользования – 36 тыс., одежда – 27 тыс., продукты питания – 19 тыс., строительные материалы – 25 тыс., бытовая химия – 5 тыс.

Недовольство некоторых по поводу телерекламы женских прокладок, памперсов и жевательной резинки не должно заслонить факт огромной перемены в бытовой гигиене. И таких внешних малых, но крайне значительных новаций в бытовой жизни россиян произошло больше, чем в какой-либо предшествовавший исторический период. За последние 10 лет люди узнали и освоили сотни новых вещей и услуг – от уже упоминавшихся до технологически сложных бытовых новаций (стиральные машины-автоматы, телефоны с автоответчиком и мобильные, обогревательные приборы, печи-ВЧ, цветные телевизоры с дистанционными пультами и многое другое). На Ленинском проспекте в Москве из встречающихся на пути десяти рекламных щитов все относятся к товарам и услугам, о которых стало известно только в последние 5–7 лет. Аналогичная ситуация в других крупных городах, где мною проводились наблюдения. Проведенные В.Л. Глазычевым и Л.В. Смирнягиным обследования малых городов Приволжского федерального округа подтверждают схожую тенденцию, хотя и на фоне более явных депрессивных явлений¹⁶.

Еще 10 лет тому назад подавляющее большинство советских семей пользовалось крайне ограниченным набором жизненных вещей, не зная о существовании многих из них или не будучи способными их “достать” (именно достать, а не купить!). Информация о существовании используемых человеком вещей поступала из узкого круга источников: полки магазина, подсмотренная на телеэкране “другая жизнь”, знакомые и друзья, поездки “в город” или за рубеж. Стремление приобрести многие вещи в силу высокой грамотности населения при ограниченных формах социальной самореализации (работа, семья, квартира, ежегодный регулярный отпуск) было огромным, и потенциальная идеология потребительства у советских людей была не ниже, а даже выше, чем в других даже более состоятельных обществах. В 1960–1980-е го-

ды эта идеология с огромной энергией и изобретательностью утверждалась в частных стратегиях людей. Обшарпанные подъезды и захлапленные лестничные клетки скрывали за дверями квартир обустроенной жилые с приличной мебелью, хорошим набором посуды и вполне сносным гардеробом. Жилье моих зарубежных коллег – молодых ученых-обществоведов, которых я посещал четверть века тому назад в США, Канаде, Мексике, Великобритании, ГДР, Венгрии, мало чем отличалось от моей московской малогабаритной квартиры в Измайлово.

Одержимость обустройством, скромная красота и чистота были разительными по сравнению с загаженностью пространства, начинавшегося за квартирной дверью. Именно здесь лежала впечатляющая грань между миром частного, личного и миром общественного, вернее, государственного, а значит, ничьего. *Советский человек был очень частным человеком, и именно это обстоятельство пропустила наша экспертиза, увлекшись анализом мира пропаганды и верхушечных установок, а также общесоциологическими замерами.* Советский человек даже на первомайскую демонстрацию или на избирательный участок ходил с удовольствием не просто “по зову сердца” в смысле политическом, а чтобы надеть и показать новый наряд (“это я надена на майские праздники”) или приобрести дефицит в школьном или клубном буфете.

Что действительно отличалось от более обустроенных обществ, если говорить в масштабе всей страны, так это сохранявшиеся в больших городах коммунальные квартиры и частное жилье малых городов и сел. Здесь жилое пространство было явно ограниченным, быт неустроен, а требовавшиеся для жизнеобеспечения усилия – неимоверными (ежедневные дрова для печки, вода из колодца и пр.). Здесь фактически был “третий мир”, но не афро-азиатская нищета, а тот, который можно наблюдать во многих странах мира, особенно в Северном полушарии, где в бедных деревнях Ирландии, Испании, Греции, не говоря о Восточной Европе, жизнь остается достаточно некомфортной. В настоящее время мир коммунальных квартир исчез, но сохранился мало изменившимся мир деревень и малых поселков с точки зрения жизненного обустройства (без канализации и центрального водоснабжения). Приход газа в часть поселений изуродовал их внешний вид, но, тем не менее, частично облегчил приготовление пищи и отопления жилья.

Узнавая из этнографических описаний о традиционном русском жилище и сам проведший детство в таком жилище, я иногда думал, что “пятистенка” с русской печью – это надолго, если не навсегда (климат, историко-культурная привычка и пр.). Даже

еще 10 лет тому назад, проезжая по российским дорогам, можно было наблюдать, как граждане, располагавшие средствами, строили кирпичные дома в деревнях и малых городах, фактически повторяя русскую избу по параметрам и архитектуре. В большинстве же своем индивидуальное жилье в 1960–1980-е годы почти не строилось.

В России подлинная перестройка в социокультурном смысле началась не с торговых кооперативов или с московских политических манифестаций. Она началась с изменений в отношении к жилью и к вещам, и в этом смысле перемены носят глубокий и, безусловно, позитивный характер. По всем стандартам жизненного благосостояния основным считается жилье, его размеры и благоустроенность. В 1960–1980-е годы в СССР строилось много городского многоквартирного жилья и крайне мало – частных домов. В 1990-е годы в России построено больше домов, чем за весь послевоенный период. По моим наблюдениям трех десятков деревень, расположенных по Егорьевскому шоссе от Москвы и до Спас-Клепиков, в российских деревнях сегодня каждый третий дом – новый. Граждане преодолели серьезный культурный барьер в представлении о жилище, и после многовекового бытования на смену одно- или двухкамерному жилищу пришел дом с более крупными параметрами, многоуровневый, с несколькими комнатами, а также с встроенным в жилище туалетом.

В целом россияне построили за время реформ столько новых домов, сколько их не было построено за предыдущие 40–50 лет! В стране наблюдается бум производства строительных материалов: и по обочинам дорог, и в городах на целые кварталы распростерлись рынки по их продаже. Помимо действующих закуплены за рубежом и запущены сотни кирпичных заводов. Текущая статистика жилья мало о чем говорит, ибо не учитывает загородное строительство и многие другие факторы (новые пристройки, многоквартирное частное жилье). Но даже эта статистика свидетельствует о том, что общая площадь жилищ в стране увеличилась с 2,1 млрд кв. м в 1985 г. до 2,7 млрд кв. м в 1997 г. Причем частный фонд увеличился не в два, а на самом деле во много раз, если считать все построенное гражданами жилье.

Люди получили бесплатно или купили по мизерным ценам миллионы новых земельных участков и научились строить более просторное и комфортное жилье, в котором население за всю историю страны не проживало. Еще 10 лет тому назад раму для арочного окна было сделать некому и, кроме наличников и железных петушков на печных трубах, никакие архитектурные украшения не использовались. Сейчас большинство новых домов, как сельских, так и дачных, обставлено солидной мебелью, над

всеми домами – телевизионные антенны и рядом с ними – автомобильные гаражи. Поразительно, как политизированная отечественная экспертиза пропустила или намеренно игнорирует факт почти всеобщей автомобилизации. Около 30 млн произведенных и привезенных автомобилей означают, что каждая вторая семья располагает транспортным средством. Удивительно, что из-за политических установок не замечается происшедшая в стране автомобилизация.

Безусловно, процесс создания основы благосостояния людей – жилья – сопровождается уродливыми явлениями, которых можно было избежать и еще придется исправлять. Вместо массы вычурных журналов по домоустройству нужно было объяснять, что настрой на эпизодическую дачную жизнь в дорогих и больших домах – это неправильная стратегия и противоречит нашим климатическим условиям. Городское население вбухало миллиарды долларов в загородное жилье, которое не имеет коммуникаций, которое невозможно отопить зимой и в котором работающая семья с детьми постоянно проживать не может из-за удаленности от места службы и отсутствия рядом школы и больницы. Конечно, было бы лучше строить все эти комфортные дома в городской черте, и сейчас бы города выглядели лучше и потребность в квартирах была бы меньше. Но мечта советского человека о даче и нежелание городских властей предоставить землю для частных домов (столько их сносили, чтобы построить многоэтажки!) оказались сильнее.

К социальным издержкам в целом положительного сдвига в создании людьми и государством нового жилья можно отнести суетность тех, кто много заработал или украл и поспешил это продемонстрировать перед миром, чтобы утвердить и возвысить себя среди других и потешить себя бильярдным залом и ванной-джакузи, в которую нерегулярно течет ржавая вода. Большинство этих домов-монстров не функционируют, и перспектива их полноценного использования неясна, как и миллионов новых дачных построек. Работающие горожане жить в них не смогут, а новому селу они в таком количестве не нужны. Видимо, это останется памятником нашему неправильному социальному планированию, отсталому менталитету и неразвитой городской антропологии.

О ГОСУДАРСТВЕ И ПРОБЛЕМЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

Политическая антропология, в том числе и отечественная, много сделала для изучения ранних форм государствообразования и понимания символично-статусной и инструментальной при-

роды власти. Но эта традиция не отвечает потребности осмысления новых явлений и понимания базовых структур организации общественной жизни в современном процессе. Отметим только несколько моментов “провала” в представлении того, что есть государство.

В ходе человеческой эволюции люди создают различные коалиции для обеспечения наиболее благоприятных условий своего социального существования. В современную эпоху и на видимую перспективу самой мощной и всепроникающей формой социальной группировки людей является государство. Государство – не божественный промысел и не вечно, но оно существует достаточно долго и тем самым обретает историческую легитимность как дополнительный аргумент своего функционирования. Однако это обусловлено все же не историей, а тем, что каждое новое поколение граждан делает (или повторяет) выбор в пользу данного государства, идентифицирует себя с этим государством и демонстрирует ему свою лояльность.

Государство – это не только охраняемая границами территория, фиксированное членство и набор институтов, правил и символов, но и наличие в сознании его граждан общеразделяемого представления о том, что есть данное государство (или страна), или своего рода “доминирующая идея”. Если у данного поколения нет такого образа страны, то фактически нет и государства или же оно пребывает в состоянии “квазигосударства”. Видимо, только более глубокое объяснение недостатка общегражданской лояльности как компонента культуры поможет лучше понять причины распада СССР и отчасти кризис государства в России, а не облегченные формулы “распадающейся империи” или “заговора”, хотя личностный момент, борьба элит за власть и ресурсы имели, на наш взгляд, решающее значение.

Возникновение и исчезновение государств не определяются детерминированными закономерностями или установленными глобальными, а тем более внутренними нормами. Ни одно государство не прописывает процедуру своего упразднения. Не делает этого и международная норма. В современную эпоху закончившегося “огосударствления” Земли этот процесс происходит в результате волеизъявления силовыми средствами или в итоге элитных выборов и решений, которые могут оформляться массовой мобилизацией в их пользу в разной форме или не оформляться вообще. Мировое сообщество, под которым чаще всего имеется в виду евро-американский мир, его коалиции и ценности, легко признает процесс государственных новообразований за своими пределами и даже ему содействует, если он происходит через

дробление, а не укрупнение государств и тем самым не грозит их экономическим и другим интересам.

Современные государства так же уязвимы, как и в прошлом, ибо склонны к соперничеству за ресурсы и к навязыванию тех норм и правил, по которым они живут сами или которые им представляются как универсальные. И все же главные вызовы государству сегодня находятся внутри самих политических сообществ. Важнейшим моментом для существования обществ лояльности (на бытовом языке – “любви к родине” и т.п.) являются условия социального преуспевания, которые создаются данным государством и для чего люди образуют, принимают и защищают свое государство. Эти условия могут быть далеко не самыми плохими, но восприниматься как таковые в результате навязываемого мнения непредставительного меньшинства при слабой компетенции индивидуального сознания и даже внешней пропаганды. Ситуация в России последних лет с этой точки зрения в отечественном обществоведении фактически не рассматривается, хотя в ней – ответ на многие мучительные вопросы.

Формально как все бывшие члены ООН (в том числе СССР, Югославия, Чехословакия и ГДР), так и нынешние постсоветские государства являются легитимными государствами, ибо оформлены приемлемыми внутренними и внешними процедурами. Однако сам факт существования этих государств требует постоянного подтверждения, в том числе и на уровне как повседневного внутреннего референдума, так и академических предписаний. Применительно к России ситуация оказалась наиболее сложной, ибо ее больше всего затронула своего рода “революция двойного отрицания”, когда вместе с демонтажем политического режима и его идеологии, которая, кстати, включала мощный компонент государственного (советского) патриотизма, оказалось отринутым и само государство и даже жизненная повседневность на протяжении десятилетий. Многообразие прошлой общественной жизни и противоречивые результаты советской политики, в том числе и в так называемом национальном вопросе, оказались редуцированными к литературным версиям “манкуртизации”, “народоубийства” и т.п. Применительно к современному состоянию доминирует версия о “криминальном государстве” и “разбойном капитализме”, которая также отрицает легитимность государства уже в его новой конфигурации.

Своего рода уходом от заботы о признании государства и его обустройстве как в экономике и политике, так и в ментальном конструировании являются метадебаты об уникальности России, российской или евразийской цивилизации, российском суперэт-

носе, разных вариантах географического и культурного детерминизма, а также одержимость пропагандой “многонациональности” при третировании общероссийской культурно-языковой и ценностно-ориентированной общности. От ученых, а не от политиков идут первичные предписания считать “родным” языком не материнский язык, язык дома и общения, а тот, который совпадает с национальностью. От ученых, а не от политиков поступают наставления гражданам, что шаманизм и язычество есть их “настоящие”, “традиционные”, “национальные” религии, а не та вера, которую приняли их предки 100, 200 или более лет тому назад. От ученых, а не от политиков поступают археологические, физико-антропологические и архивные данные о том, что часть владельцев домов на одной и той же улице живет на “своей этнической территории”, а часть – не на своей. Из тех же академических постулатов родились доктрины “своей” государственности или “безгосударственности”, хотя в пределах России все имеют общее государство и у каждого есть паспорт на правовое подтверждение этого факта. Российские республики также существуют в равной мере для всех, если граждане сами не позволяют их узурпацию со стороны представителей одной группы, как это имеет место, например, в Адыгее или Башкирии.

Западное академическое сообщество с энтузиазмом разделяет саморазрушительные язык и методологию российского общественно-политического сознания. Казавшаяся когда-то несерьезной рейгановская метафора “империи зла” или поверхностная формула французского историка Каррера Данкосса о “распадающейся империи”¹⁷ ныне стали непререкаемыми объяснительными концептами. Инерцию воинов холодной войны и энтузиазм молодых специалистов по “постсоветскости”, чутко улавливающих потребности новых геополитических соперничеств, активно подпитывают наши же собственные подсказки о “криминальном государстве”, о “мини-империи”, о “многонациональной стране”, о “своей” и “не своей” государственности внутри одной страны, о самоопределении “несамоопределившихся наций” и т.п. Из всего этого рождается образ России как чего-то не свершившегося, как некой “ничейной территории” (*terra nullis*), открытой для новых геополитических дизайнов.

Эти метадебаты представляются достаточно радикальным разрывом с сознанием молчаливого большинства, тех самых “дорогих россиян”, которые некоторым ученым и политикам представляются эвфемизмом наподобие “марсиан”. Действительно, как заметил Глеб Павловский, в 1991 г. было выкрикнуто слово “Россия” в виде советской республики РСФСР – государство не очень понятное и плохо продуманное. В этом смысле Россия состоялась сначала как акт речи, но именно он быстро обрел реаль-

ность. В этом нет социально-культурной аномалии, ибо равным образом состоялись и другие современные государства (“мы сделали Италию, сейчас будем делать итальянцев”, как говорили вожди объединения). Рядовые граждане приняли новое государство, ибо вопрос о государстве для них – это не вопрос трудноразделяемого элитой символического и ресурсного наследия, а вопрос о тех новых возможностях для личной жизни, которые ожидаются за новым государственным обозначением территории, где они жили и продолжают жить.

У обывателя, в том числе и просвещенного интеллигента, нет государственного мышления в его повседневном варианте. Его государство там, где лучше или где привычнее. Постулат, когда-то высказанный одним видным академиком-экономистом, пребывавшим в поиске национальной идеи, что служение стране и нации должно быть выше личного интереса, является, строго говоря, ненаучным. Ни один человек, включая академиков, ни одного дня в своей жизни по этому принципу не прожил и жить не должен, за исключением особо распропагандированных энтузиастов. Даже чеченские комбатанты преследовали вооруженной борьбой достаточно утилитарные и частные интересы под лозунгами национального самоопределения.

Таким образом, если российские граждане, в том числе и чеченцы, не побросали свои паспорта (неважно, что они были советского образца) и не выбирают массовую эмиграцию из страны, значит, они принимают свое новое государство, какие бы интерпретации ни предлагали от имени народа активисты социального пространства. Случившееся государство под названием Российская Федерация есть свершившийся факт, и все рассуждения в обратном направлении – плохая услуга этому государству (в морально-политическом плане) и разрыв с реальностью (в научно-академическом смысле). В равной мере существует и российское согражданство, гораздо более гомогенное, чем в большинстве государств мира, но об этом я писал неоднократно¹⁸.

Другое дело, что есть проблема кризиса и меняющихся идентичностей, особенно диалог между прошлой советской и нынешней российской лояльностью, который фиксируют многие этнологи и социологи. Однако в последнем мне видится некоторая академическая форма преувеличения проблемы, в методике исследования которой настойчивое и многолетнее спрашивание “что есть Родина?” и вариантом ответа “СССР” есть скрытое предписание со стороны самих ученых: это своего рода вариант школьного сочинения на заданную тему.

Современная российская антропология должна сделать предметом своего интереса социально-политическую и сложнокультур-

турную общность россиян. Именно сложная (гибридная) культурная целостность, “негомогенное целое” (выражение М.М. Бахтина), а не абстракция “межнациональных отношений” и даже не “многокультурность” заслуживают настоящего внимания и научной реабилитации.

АНТРОПОЛОГИЯ ВЛАСТИ, ИЛИ ФЕНОМЕН “ПЛЕМЕНИ НА ХОЛМЕ”

Жизнь на Боровицком или на Капитолийском холме – это в основном профессиональное занятие политологов. Однако культурный аспект феномена власти не менее важен и интересен. Власть как право и способность определять социальное пространство других – это глобальное антропологическое явление. Она исполняет не только важнейшую общественную функцию, но и есть поле соперничества людей за материальные вознаграждения властвования и удовлетворения людьми гедонистических устремлений. Власть ее носителю приятна и полезна; желающих властвовать в обществе всегда гораздо больше, чем желающих быть управляемыми. Поэтому негативный смысл слов “рваться к власти”, с научной точки зрения, бессмыслен, как вредно пренебрежительное отношение к власти и тем, кто у власти. Задача антрополога – понять и объяснить власть, в том числе и для самих властвующих. В этом плане новое российское знание серьезно отстает от потребности, а старое советское знание этими вопросами фактически и не занималось, ибо советская власть во многом носила сакральный, а не только профанный характер и академическому скальпелю не поддавалась.

Здесь есть целый ряд свежих проблем. Одна из них – это делегирование во власть и выход из нее. Тут интересны не столько правовые нормы и другие механизмы, сколько поведение особого человеческого материала, вернее мутации человеческого материала в системе властных отношений. Открывшийся для более широкой состязательности и внешней экспертизы домен власти в России оказался достаточно неожиданной научной задачей и породил ряд поверхностных взглядов, которые, в свою очередь, привели к “ошибкам власти”. В частности, утвердился и сохраняется постулат “честной” и “нечестной” власти, когда имеют в виду, что во власть попадают жулики и взяточники, и от этого – многие российские беды. Число не оправдавших надежд политиков множится с каждой новой сменой когорты властвующих, и уже это заставляет усомниться в верности исходной посылки приоритета положительной моральности человека во власти. Не

дает ответа на вопрос и рецепт сделать властвующим достаточно состоятельными людьми, чтобы они не воровали, хотя действительно нищие политики порождают и нищую политику.

Вопрос честной власти в России – это прежде всего вопрос правил и контроля, а уже потом вопрос моральных внутренних регуляторов и внешних моральных воздействий. Поскольку власть – это одна из самых престижных и значимых для общества профессий, рекрутирование в нее происходит трудным и сложным селективным путем. Как и в племенном обществе, этот процесс основан на компетенции, авторитете, силе и богатстве в различных сочетаниях значимости и использования этих факторов. Но те, кто приходят во власть, будучи специфически отборным человеческим материалом, обладают завышенными запросами и ожиданиями. Они способны к рациональной саморефлексии: “Я управляю такой богатой страной (краем, отраслью, компанией)” или “Я так много делаю для страны (республики, народа, института)”, что имею право жить лучше и даже богато.

Интересна в смысле правильности (как общего правила) сентенция А. Коржакова в его мемуарах: “Ни у кого никогда я не брал подарков. Мне предлагали кредиты, я отказывался. Мне предлагали готовую дачу, я отказывался... И тут я впервые подумал: завтра он (Б. Ельцин. – В.Т.) меня вот так же, как сейчас предаст, и останусь я не только поруганным, но и нищим”¹⁹. В России это всеобщее правило обрело особые формы приватизации принадлежащих государству собственности и ресурсов через власть или через приближенность к власти. В народной метафоре и на языке политической оппозиции данный процесс получил обозначение “разграбление страны” или “ограбление народа”. В значительной мере это оказалось возможным в силу безгласности основного населения в эпоху, получившую обозначение “гласность”.

По этой причине усилия антропологов-специалистов по власти, а вместе с ними и более широкой общественности должны быть направлены не столько на бесполезное морализаторство, сколько на установление пределов обеспечения материальной состоятельности властвующих, в том числе в зависимости от материального положения самих управляемых. Новая российская власть действует по принципу полезных аналогий и заимствований. Посещая Капитолий, российские законодатели видят многочисленный штат помощников у своих коллег, но не замечают их личных автомашин (без водителей) на платной парковке у здания парламента. Они хотят таких же просторных служебных офисов, но не спрашивают про арендуемые или покупаемые конгрессменами квартиры в Вашингтоне.

Именно разрушение старых и отсутствие новых правил и общественного контроля позволили российским властителям создать симбиоз старых и новых привилегий, которые обрели неприличный, но, к сожалению, терпимый избирателями и налогоплательщиками характер. В этом смысле власть такая, как и мы сами, – это наше отражение. Задача экспертного сообщества – способствовать выработке ограничителей запросов власти и просвещать в этом направлении остальное общество.

Властвующие почти всегда составляют горизонтальные корпорации или неформальные сети, чтобы через солидарность удержать власть и иногда отправлять непосредственные функции управления. Даже в советское время система номенклатуры держалась не только на жестких правилах отбора через партийную и хозяйственную службы, но и через клановые сети, выстраивавшиеся по региональному, профессиональному или этническому принципам. Даже первое поколение большевиков, пришедших к власти в 1917 г., опиралось на солидарность замкнутой группировки лидеров, связанных с деятельностью в кавказском регионе²⁰. Позднее неформальные связи строились на основе выпускников партийных школ или совместной работы, а в период радикальной смены политического поколения – и на основе идеологических установок. Эти сети, их особый язык, символика и ритуал изучаются слабо, хотя их роль чаще важнее институциональных связей, а их сила – выше закона.

Имеется и особая культурная специфика образов российской власти и властных иерархических взаимодействий, которая во многом оказалась заимствованной из старой системы статусных привилегий и символов. Это – градация особых номеров служебных автомашин, служебных пропусков (вплоть до “вездехода”), количество охраны, месторасположения дачного дома и т.п. Цензурная речь и особенно ритуально-рутинное потребление алкоголя – это уже не просто культурологическая, а социально-политическая проблема, выходящая на уровень вопросов национальной безопасности. Фактически решения по Чечне, как политические на высшем уровне, так и военно-полевые, принимались в стране людьми, находившимися в состоянии алкогольной интоксикации.

Есть проблема амбиций и самонадеянности власти, также доставшаяся в наследство от периода “слуг народа”. Только вместо строгой иерархии и культа вождя, за которым было высшее и последнее слово, возникли множественные центры власти и многие вожди, каждый из которых узурпировал избирательный или другой механизмы для собственной легитимизации и персональной свободы действий. Особенно это заметно в заимствовании новых

или возрождении старых обозначений для “первых лиц” разного уровня. Так, в России появились “президенты” и “губернаторы”, а также “первые заместители”, “первые помощники”, “руководители охраны” и т.п.

Если говорить о проблемах политической антропологии в современной России, то есть еще ряд важных моментов. Это – состояние компетенции правящего корпуса и экспертного обеспечения законодательно-правовых норм и управленческих решений. Это – необоснованная или цинично политизированная эскалация низовой мифологии и несостоятельных доктрин до уровня официальных текстов и деклараций. Это – проблемы гражданской ответственности властвующих и их “мягкого” выхода из власти.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НОРМЫ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Традиционное обществоведение анализирует в обычной дихотомии понятия “власть” и “народ”. Однако общественная либерализация породила нового актора среднего уровня. Вместе с норвежским антропологом Фредериком Бартом²¹ под этой категорией я понимаю слой активистов, политических и этнических предпринимателей, действующих вне институциональной власти и системных отношений. Это также новое явление со своей древней и современной культурной спецификой. Здесь есть узурпация коллективной воли тех, от имени которых действуют активисты. Как правило, это лидеры (легитимные и самозванные) групп меньшинств, в том числе этнических и религиозных. Достаточно юридически зарегистрировать реальную или мифическую организацию под названием Союз мусульман России и сразу стать “лидером мусульман” в стране. Современное самозванство (от “академиков” и “человеков года” до “национальных лидеров”) – крайне интересная черта ментальных приватизаций российских граждан, которые обнаружили, что можно гораздо больше, чем было долгое время позволено. Кстати, этим (в основе своей советским) стремлением к статусности и иерархии довольно ловко пользуются авантюристы-предприниматели: за последние годы разные “нью-йоркские академии” и дарители дипломов и званий неплохо заработали на денежных переводах и взносах россиян, посылая им разного рода красиво напечатанные бумажки.

Можно иронизировать или гневаться по поводу того, что наряду с “настоящими” появились “ненастоящие” академики, можно ревностно оберегать узкий мир официальных привилегий и наград (как заявил Олег Табаков, прижимая врученный прези-

дентом диплом: “Получали, получаем и будем получать”), но в целом символично-статусная сфера российской жизни стала существенно другой. Она лучше прежней, ибо свободнее и разнообразнее. Но это не значит, что нет проблем. Главная из них – как статус и престиж, а также ресурсы, условно говоря, внесистемных (имея в виду старую систему) акторов сосуществуют с порядком и государственностью и насколько они признают последние. Здесь есть проблема политически корректных симпатий: почему один “внесистемный” активист с нашитыми на штаны казачьими лампасами получает кабинет в Кремле и входит в систему, а другого третируют или не замечают. Или же замечают и поддерживают откровенные внешние манипуляторы, чтобы разрушить легитимный порядок. Ибо именно на этом среднем уровне иницируются вызов статус-кво и даже массовый выход из правового пространства.

Что касается уровня “масс”, то традиционный подход трактует его как инертный и больше всего страдающий. Здесь произошли не менее глубокие трансформации, которые подтверждают мое наблюдение, что способность общества к инновациям и модернизации гораздо выше, чем это представляют и замечают ученые, особенно отслеживающие макроуровни общественного процесса, или этнографы “традиционных общин”. В стране произошла массовая приватизация времени и пространства и отчасти ресурсов (здесь круг гораздо уже). В последние годы россияне открывают внешний мир, хотя, к сожалению, за счет снижения интереса к собственной стране. Сейчас ежегодно выезжает за рубеж порядка 10 млн человек, причем не за государственные 7 долл. в день, как в прошлом, а на собственные средства. Такого не могут позволить себе бразильцы или мексиканцы, которые, по официальной статистике, пребывают с россиянами примерно на одном уровне достатка.

Потрясающе интересным с антропологической точки зрения оказывается родившийся в начальной стадии реформ феномен “челнока”, в котором соединяются экономические, гендерные и духовно-мировоззренческие аспекты человеческого поведения. Анализ мелких торговцев уже сделан социологами и некоторыми другими специалистами, но мне бы хотелось отметить некоторые аспекты, которые я наблюдал во время поездки в Турцию²². Именно сюда в начале 1990-х годов шел основной поток челноков из России. Центром был Стамбул, имевший несколько преимуществ: короткий перелет, обилие товаров широкого потребления в крупную розницу при минимуме формальностей, хороший город для туристических впечатлений. Кстати, по моим наблюде-

ниям, миф о пьянстве российских челноков или шоптуристов не подтверждается. Один из них как-то сказал мне: “Спиртное не потребляем, пока не сделано дело”. Большинство среди челноков – женщины (некоторые летают с маленькими детьми), ибо “так надежнее”:

“Женщина лучше знает что приобретать, нет соблазна запить или ударить по проституткам. Оперируют примерно одной суммой за поездку: 3–4 тыс. долл. Летают два–три раза в месяц. Специализация по товарам обязательна, но смена приоритета бывает частой. Одни сдают на реализацию и сами не торгуют, другие имеют палатки, за что платят ежедневную аренду и продавцам. Не ждут, когда реализуется весь товар, и едят сразу, как собирается необходимая сумма. Часть товара не продается вообще. Прибыль около 30%. В торговый район Аксарай ежедневно прибывают 10–15 тыс. российских челноков и всего за год закупают товаров на 5–10 млрд долл. Доллары челноков дают жизнь и работу половине Стамбула. Челнок дисциплинирован и подтянут. Устремлен на одну цель и имеет утомительный график. На разгул нет сил и средств. На еду тратят 10 долл. и едят здесь же в Аксарае. Опасаясь скандалов, терпят хамство гидов и лавочников”.

Этот богатый синопсис феномена челнока дополняет еще одно замечание молодой женщины: “После того, как дело сделано, остается время и для главного – посмотреть город и памятники или отдохнуть на морском берегу. И ни от кого не завишу в этом мире: сама себе хозяйка во всем”.

Российские “народные массы” демонстрируют разительный прорыв в культурном производстве, которое и до этого относилось к числу приоритетных для человека и государства. Из этой сферы я возьму только образование, науку и высокую культуру. Здесь, пожалуй, сократилось только число дошкольных образовательных учреждений (у родителей появилось больше возможности воспитывать детей дома за счет неработающих матерей). Все школы и вузы функционируют, и престиж образования не снизился, если судить по набору студентов и по более богатому выбору образовательных институтов. Число вузов с 502 в 1985 г. выросло до 900 в 2002 г., а число студентов – с 2,9 до 3,2 млн за тот же период. Россия имеет рекордную численность студентов: 246 на 10 тыс. чел. населения, что свидетельствует не просто о росте престижа высшего образования, но и о выросших материальных возможностях молодых людей и их родителей.

Так называемый кризис науки, возможно, касается ряда естественных наук и военно-промышленных разработок, но к общественным наукам он имеет отношение только в плане кризиса

теоретико-методологических основ, да и это касается больше начального этапа российских трансформаций. Риторика жалоб здесь (и не только здесь) скорее используется, чтобы сохранить государственное обеспечение, действующую систему организации науки и имеющиеся кадровые ресурсы. Это само по себе понятно, но к реальному кризису имеет условное отношение. За последние 15 лет Институт этнологии и антропологии РАН произвел научную продукцию, в 3–4 раза превышающую продукцию предыдущего десятилетия. Такая же ситуация в других гуманитарных институтах. В обществоведческий арсенал введено огромное количество новых и забытых имен ученых и осуществлены масштабные переводческие проекты. Новым и позитивным стала деятельность двух государственных научных фондов – РФФИ и РГНФ, через которые получает поддержку лучшая часть научного сообщества.

Я не затронул целый ряд общественных сфер, где происходят или уже произошли глубокие трансформации, которые не замечаются или плохо интерпретируются. Но даже этот анализ позволяет сделать вывод, что *в России стало жить лучше, хотя и сложнее*. А “сложность”, по точному замечанию критика Виктории Чаликовой, – “синоним человечности”.

¹ Hann С.М. Socialism: Ideals, Ideologies, and Local practice. L., 1993. P. 12.

² См.: Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Кондратьев В.С., Суколов А.А. Этносоциология: Цели, методы и некоторые результаты. М., 1984.

³ Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: В 4 кн. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М., 2001. С. 7; См. также интересное исследование по материалам Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ): Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х / Под ред. Ю.А. Левады. М., 1993.

⁴ Грушин Б.А. Указ. соч. С. 8.

⁵ Левада Ю.А. От мнения к пониманию. М., 2000.

⁶ В отечественной и зарубежной литературе родилось целое исследовательское поле по изучению переходных обществ, которое получило на русском языке неуклюжее название “транзитология” и которое обрабатывают главным образом политологи и социологи, если не считать еще и так называемых социальных философов и внедисциплинарных эссеистов, пишущих для политизированной аудитории и нетребовательного обывателя среднего образовательного уровня. Список российских авторов и перечень трудов потребовали бы отдельной брошюры, но назовем некоторые из наиболее крупных исследований: Россия: Трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. М., 2001; Россия реформирующаяся / Под ред. Л.М. Дробижевой. М., 2002; Серия сборников материалов

симпозиумов, проведенных Московской школой социальных и экономических наук в 1994–2000 гг. (например: Куда идет Россия?.. Власть, общество, личность / Под ред. Т.И. Заславской. М., 2000; Кто и куда стремится вести Россию?.. Актеры макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса. Международный симпозиум 19–20 января 2001 г. / Под ред. Т.И. Заславской. М., 2001. Из зарубежных исследований по антропологии российских трансформаций назову несколько серьезных работ: Postsocialism. Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia / Ed. С.М. Hann. London; New York, 2002; *Humphrey C.* The Unmaking of Soviet Life. Everyday Economies after Socialism. Ithaca; London, 2002; *Ries N.* Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika. Ithaca; New York, 1997; *Grant B.* In the Soviet House of Culture: A Century of Perestroikas. Princeton, 1995.

- ⁷ Важное исследование о природе и судьбе “больших проектов” с объявленной целью улучшения условий жизни людей в истории разных обществ и государств выполнил американский антрополог Д. Скотт: *Scott J.C.* Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven; London, 1998.
- ⁸ *Foucault M.* Space, Power and Knowledge // *The Cultural Studies Reader* / Ed. S. During. London; New York, 1993. P. 161.
- ⁹ Аргументы и факты. 1999. 4 янв. № 7.
- ¹⁰ По данным А.А. Дынкина, совокупный объем потребляемых россиянами товаров и услуг достиг беспрецедентного в истории страны уровня, уже только одно это обстоятельство говорит об улучшении условий жизни населения.
- ¹¹ Обстоятельный обзор демографической ситуации в стране, помимо публикаций Госкомстата России, содержится в ежегодных докладах под редакцией А.Г. Вишневого. См.: Население России. 2001. Девятый ежегодный демографический доклад / Отв. ред. А.Г. Вишневский. М., 2002.
- ¹² *Вишневский А.Г.* Демографическая ситуация в Российской Федерации: Проблемы и перспективы. Международный симпозиум. Перепись населения – XXI век: Опыт–проблемы–перспективы, 27–28 ноября 2001 г. С. 36.
- ¹³ См.: Этнография переписи–2002 / Под ред. Е. Филипповой, Д. Арел, К. Гусефф. М., 2003; Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах: Ежегодный доклад 2002 / Под ред. В.А. Тишкова и Е.И. Филипповой. М., 2003 (особенно статья А.Б. Дзадзиева).
- ¹⁴ Пример политизированных текстов низкого профессионального уровня: *Козлов В.И.* Трагедия великого народа. М., 1996; Национальные интересы русского народа и демографическая ситуация в России / Отв. ред. Е. Троицкий. М., 1997.
- ¹⁵ *Дзадзиев А.Б.* Демографические процессы в республиках Северного Кавказа в период между переписями населения (1989–2002 гг.) // Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах / Под ред. В. Тишкова и Е. Филипповой. М., 2003.
- ¹⁶ Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа. Аналитический отчет по результатам экспедиций 2001 г. / Под рук. В.Л. Глазычева. Нижний Новгород, 2001; *Смирнягин Л.В.* Отчет о выборочном обследовании малых городов Поволжья (16 июня–15 июля 2001 г.). Рукопись.

- ¹⁷ *Carrere d'Encausse H.* L'empire éclaté. P., 1979.
- ¹⁸ См., например: *Тишков В.А.* Что есть Россия? (Перспективы национализма) // Вопросы философии. 1995. № 2; *Он же.* О нации и национализме // Свободная мысль. 1996. № 3.
- ¹⁹ *Коржаков А.* Борис Ельцин: От рассвета до заката. М., 1997. С. 393.
- ²⁰ *Gerald E.M.* Personal Networks and Postrevolutionary State Building. Soviet Russia Reexamined // World Politics. 1996. Vol. 48. July. P. 551–578.
- ²¹ См.: *Barth F.* Enduring and Emerging Issues in the Analysis of Ethnicity // The Anthropology of Ethnicity: Beyond “Ethnic Groups and Boundaries” / Ed. H. Vermeulin, C. Govers. Amsterdam, 1994.
- ²² На эту тему были опубликованы содержательные очерки. См., например: Известия. 1996. 21 и 22 авг.

ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА ДИАСПОРЫ*

СЛАБОСТИ ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА

Уже после написания этого текста* вышел в свет первый номер нового отечественного журнала “Диаспора” со статьей Александра Милитарева, посвященной термину “диаспора”. Отправной тезис указанного автора: “термин этот никакого универсального содержания не имеет и термином, строго говоря, не является”¹, нами полностью разделяется. Однако все-таки о чем идет речь, если пойти дальше историко-лингвистического экскурса?

Наиболее употребляемое современное понятие *диаспоры* – обозначение совокупности населения определенной этнической или религиозной принадлежности, которое проживает в стране или районе нового расселения². Однако это хрестоматийное понимание, как и более сложные дефиниции, встречающиеся в отечественных текстах³, малоудовлетворительно, ибо имеет ряд серьезных недостатков. Первое – это слишком расширенное понимание категории *диаспора*, включающее все случаи крупных человеческих перемещений на транснациональном и даже на внутригосударственном уровнях в исторически обозримой перспективе. Другими словами, косовские адыги, румынские липоване и русские в США – это безусловная российская *внешняя* диаспора, а московские осетины, чеченцы и ингуши – это *внутренняя* российская диаспора. Московские и ростовские армяне – это бывшая внутренняя, а ныне внешняя диаспора государства Армении в России⁴.

В этом случае под категорию *диаспоры* подпадают огромные массы населения, а в случае с Россией – это, возможно, цифра, равная нынешнему ее населению. По крайней мере, если следовать логике принятого в 1999 г. Федеральным собранием РФ закона “О государственной поддержке соотечественников за рубежом”, это наверняка так, ибо закон определяет “соотечественников” как всех выходцев из Российской империи, РСФСР, СССР,

* Частично опубликована в “Этнографическом обозрении” (2000. № 2) и “Исторических записках” (2000. № 3/121) под названием “Исторический феномен диаспоры”.

Российской Федерации и их потомков по нисходящей линии. А это, насколько можно предполагать, – около трети населения Израиля и около четверти населения США и Канады, не говоря уже о нескольких миллионах жителей других государств, даже если не считать население Польши и Финляндии, которое формально почти целиком попадает под эту категорию.

Если из общего числа исторических выходцев из нашей страны и их потомков исключить тех, кто полностью ассимилировался, не владеет языком предков, считает себя французом, аргентинцем, мексиканцем или иорданцем и никакого чувства связи с Россией не испытывает, все равно число “соотечественников за рубежом” остается не только крайне большим, но и трудно определяемым по неким “объективным” характеристикам, тем более если эти характеристики относятся к сфере самосознания и эмоционального выбора, что тоже следует считать объективными факторами.

Подлинную проблему представляет не сам факт слишком большой численности диаспоры (такую проблему скорее создал для государства упомянутый выше закон, предусматривающий выдачу “удостоверений соотечественников” по всему миру). Диаспоры в их традиционном значении могут превышать население стран исхода, и у России в силу ряда исторических обстоятельств суммарная эмиграция была действительно многочисленной, как и у ряда других стран (Германия, Великобритания, Ирландия, Польша, Китай, Филиппины, Индия и другие). Проблема с традиционным определением диаспоры состоит в опоре этого определения на объективные факторы самого акта перемещения человека или его предков из одной страны в другую⁵ и сохранения особого чувства привязанности к “исторической родине”.

Объясню эту теоретико-методологическую трудность с определением личностной принадлежности к диаспоре (без индивидуального членства нет и самой диаспоры как некоего коллективного тела) на одном примере из собственного исследовательского опыта. Я был знаком с ныне покойным Джорджем Игнатьевым – известным канадским дипломатом и ректором колледжа Святой Троицы при Торонтском университете. Он ощущал себя не просто канадцем, а именно “русским канадцем” (так его воспринимал и Н.С. Хрущев при встрече в ООН и во время приезда Игнатьева в СССР в 1955 г. в составе официальной канадской делегации). Граф Игнатьев, безусловно, мог считаться представителем российской диаспоры (этих сравнительно давних выходцев из России в дальние страны сейчас иногда называют “традиционной диаспорой”). Спустя почти 20 лет я встретился с его сыном Майклом Игнатьевым – известным английским журналистом и

писателем, который с юных лет живет в Великобритании, не знает ни слова по-русски и скорее считает себя представителем канадской диаспоры в Англии (“для меня быть канадцем, – говорит он, – просто одна из тех привилегий, которые я получил по праву рождения”). Объективистская категоризация молодого Игнатьева в числе представителей российской диаспоры была бы явной узурпацией по отношению к его самосознанию и жизненному поведению.

В 1987 г. М. Игнатьев написал чудесную книгу “Русский альбом. Семейная сага о революции, гражданской войне и изгнании”⁶. Это было путешествие автора в детство, к которому он уже больше не возвращался, и обращение к семейным реликвиям. Для российского читателя данная книга – своего рода историко-культурный документ, порожденный представителем русской диаспоры, и подобное восприятие трудно подвергнуть сомнению, даже если сам Майкл Игнатьев с этим может не согласиться. Во время моей встречи с ним в его богемной квартире в старом Лондоне в январе 1997 г. он не смотрелся как представитель русской диаспоры в отличие от своего отца, которого я наблюдал в Торонто. Хотя и об отце Майкл написал достаточно интересные слова: “Вместе с тем он всегда держался особняком от русской эмиграции, ее фракционных интриг и допотопной политики. В детстве он казался мне скорее канадцем, чем русским. До сего дня он остается более патриотичным и сентиментальным канадцем, чем я сам. Для него Канада стала страной, давшей ему новую жизнь”⁷.

Вторая слабость общепринятого определения диаспоры состоит в том, что оно основывается на перемещении (миграции) людей и исключает другой распространенный случай образования диаспоры – перемещение государственных границ, в результате чего культурно-родственное население, проживавшее в одной стране, оказывается в двух или в нескольких странах, никуда не перемещаясь в пространстве. Так создается ощущение реальности, имеющей политическую метафору “разделенного народа” как некой исторической аномалии. И хотя “неразделенных народов” история почти не знает (административные, государственные границы никогда не совпадают с этнокультурными ареалами), эта метафора составляет один из важных компонентов идеологии этнонационализма, который исходит из утопического постулата, что этнические и государственные границы должны совпадать в пространстве.

Однако эта важная оговорка не отменяет сам факт образования диаспоры в результате изменения государственных границ. Проблема только в том, по какую сторону границы оказывается

диаспора, а по какую – “основная территория проживания”. С Россией и русскими после распада СССР, казалось бы, все ясно: здесь “диаспора” однозначно располагается за пределами Российской Федерации. Хотя эта новая диаспора (в прошлом ее не было вообще) тоже может быть исторически изменчивой и вариант самостоятельной “балто-славянскости” вполне может заместить нынешнюю пророссийскую идентификацию данной категории русских в Латвии, Эстонии и Литве.

Если в трактовке русских в Прибалтике и других государствах бывшего СССР как новой российской диаспоры на нынешний исторический момент существует высокая степень согласия, то вопрос с осетинами, лезгинами, эвенками (около половины последних живет в Китае) несколько сложнее. Здесь диаспора, в случае появления данного дискурса (по поводу, например, эвенков этот вопрос вообще пока не стоит ни для ученых, ни для самих эвенков), – это прежде всего вопрос политического выбора со стороны представителей самой группы и вопрос межгосударственных стратегий. Интегрированные и более урбанизированные по сравнению с дагестанскими азербайджанские лезгины могут не чувствовать себя “русской диаспорой” по отношению к дагестанским лезгинам. Зато лишенные территориальной автономии и пережившие вооруженный конфликт с грузинами южные осетины сделали выбор в пользу диаспорного варианта, и этот выбор стимулируется североосетинским обществом и властями данной российской автономии. Что касается азербайджанцев, то всегда ли можно их называть диаспорой за пределами Азербайджана, например, в Иране?

В последнее время в отечественной литературе встречается понятие “диаспорных народов” применительно к российским национальностям, не имеющим “своей” государственности (украинцы, греки, цыгане, ассирийцы, корейцы и прочие). В российском Министерстве по национальной политике в середине 1990-х годов даже появился департамент по делам диаспорных народов, и тем самым академическая новация подкрепилась бюрократической процедурой. Диаспорой стали называть и часть нерусских граждан страны, проживающих за пределами “своих” республик (татарская, чеченская, осетинская и другие диаспоры). В некоторых республиках принимаются официальные документы и пишутся научные труды по поводу “их” диаспор.

Обе указанные вариации представляются нам порождением все той же несостоятельной доктрины этнонационализма и деформированной под ее воздействием практики. Сибирские, астраханские, нижегородские, башкирские или московские татары – это автохтонные жители соответствующих российских регионов,

причем обладающие большим культурным отличием от казанских татар, и они ничьей диаспорой не являются. Общероссийская лояльность и идентичность вместе с чувством принадлежности к данным локальным группам татар подавляют ощущение некой разделенности с татарами “основной территории проживания”. Хотя в последние годы Казань довольно энергично внедряет политический проект “татарской диаспоры” за пределами соотвествующей республики⁸.

У этого проекта есть некоторые основания, ибо Татарстан сегодня – основной очаг татарского культурного производства, опирающийся на автономную государственность. И все же к татарской диаспоре следует относить скорее татар в Литве, Финляндии или Турции, чем татар в Башкирии. Но и здесь многое зависит от выбора точки зрения. Литовские татары появились в конце XVI в., имели свое княжество и ныне вполне могут сформулировать автохтонный, а не диаспорный проект. Вместе с тем еще лучше “замерить”, т.е. определить ощущение и поведение самих татар в разных местонахождениях.

Как известно на примере неоднократных и массовых реконструкций татаро-башкирской идентичности в XX в., данные ощущения исторически могут быть очень подвижными⁹. Только после этого можно осуществлять категоризацию той или иной культурно-отличительной группы населения как диаспоры. *Именно эти два аспекта исторической ситуативности и личностной идентификации не учитывает господствующий в отечественной науке традиционный (объективистский) подход к феномену диаспоры.*

Более нюансировано обсуждение проблем диаспоры в зарубежной науке (преимущественно в историографии и социально-культурной антропологии), но и здесь есть ряд слабых мест, несмотря на интересные теоретические разработки. В первом номере англоязычного журнала “Диаспора” один из его авторов Уильям Сэфрэн попытался определить, что составляет содержание исторического термина *диаспора*, под которой он понимает “экспатрированную общину меньшинства”. Называется шесть отличительных характеристик таких общин: рассеянность из первоначального “центра” по крайней мере в два “периферийных” места; наличие памяти или мифа о “первородине” (*hometown*); “вера, что они не являются и не будут полностью приняты новой страной”; видение первородины как места неизбежного возвращения; преданность поддержке или восстановлению этой родины; наличие групповой солидарности и чувства связи с первородиной¹⁰. В рамках такого определения бесспорными (но не без исключений!) выглядят армянская, магрибская, турецкая, па-

лестинская, кубинская, греческая и, возможно, современная китайская и прошлая польская диаспоры, однако ни одна из них не подходит под “идеальный тип”, который Сэфрэн фактически сконструировал на примере еврейской диаспоры. Но даже и в последнем случае имеется масса несоответствий. Во-первых, евреи не представляют собой единую группу, они – хорошо интегрированная и высокостатусная часть основного населения в ряде стран, во-вторых, большинство евреев не желает “возврата” на первородину, в-третьих, “групповая солидарность” – это тоже миф, который, кстати, жестко отвергается самими евреями, если заходит речь о “еврейской солидарности”, “еврейском лобби” в политике, экономике или академической среде.

Приведенное выше и широко распространенное описание имеет еще один серьезный недостаток: в его основе лежит идея “центрированной” диаспоры, т.е. наличия одного и обязательно места исхода и обязательной связи с этим местом, особенно через метафору возвращения. Большинство исследований по ряду регионов мира показывает, что наиболее часто встречается вариант, который иногда называют квазидиаспорой. Он демонстрирует не столько ориентацию на культурные корни в каком-то особом месте и желание возврата, сколько стремление воссоздать культуру (часто в сложной и обновленной форме) в различных местонахождениях¹¹.

Главная слабость в интерпретации исторического феномена диаспоры в современной литературе заключается в эссенциалистской реификации диаспоры как коллективных тел (“устойчивых совокупностей”!), причем не только как статистических множеств, но и как культурно-гомогенных групп, чего при более чувствительном анализе установить почти не удастся. “Более того, – пишет Джеймс Клиффорд – автор одного из лучших очерков о теории диаспоры, – в разные времена своей истории в обществах диаспоризм может вспыхивать и затухать (*wax and wane*) в зависимости от меняющихся возможностей (установление и снятие преград, антагонизмы и связи) в принимающей стране и на трансгосударственном уровне”¹². Мы бы только добавили в пользу историко-ситуативного и лично-ориентированного подхода к трактовке диаспоры то обстоятельство, что не меньшее значение для динамики диаспоры имеют меняющиеся возможности в стране исхода, если таковая есть у диаспоры. Открывшиеся возможности быстрой “личной удачи” и занятия престижных должностей в странах бывшего СССР пробудили в “дальнем зарубежье” гораздо больше диаспорности, чем рутинное желание послужить “исторической родине”, которое, казалось бы, должно быть всегда.

ДИАСПОРА И ПОНЯТИЕ “РОДИНА”

При всех наших оговорках феномен диаспоры и обозначающий его термин существуют. Задача социальной теории – достичь более или менее приемлемого консенсуса в отношении определения самого исторического явления, о котором идет речь, или существенно поменять саму дефиницию. Оба пути операциональны с научной точки зрения. В данной работе мы предпочли первый путь, т.е. предлагаем свои размышления о феномене диаспоры преимущественно в российском историко-культурном контексте, не отказываясь в целом от традиционного подхода.

Употребление в историографии и других дисциплинах достаточно условного понятия *диаспора* предполагает существование сопровождающих его категорий, также не менее условных. Прежде всего это категория так называемой родины для той или иной группы. Один из американских специалистов по проблемам этничности Уолкер Коннор характеризует диаспору как “сегмент населения, живущий за пределами родины”. Это определение примерно совпадает с доминирующим в отечественной историографии подходом. В отечественной этнографии также активно изучаются “сколки с этноса” (например, армяне в Москве¹³). Однако, как мы уже отмечали, подобное слишком широкое обозначение диаспоры неоправданно охватывает все формы иммигрантских общин и фактически не делает различий между иммигрантами, экспатриантами, беженцами, гастарбайтерами и даже включает старожильческие и интегрированные этнические общины (например, китайцев в Малайзии, индийцев на Фиджи, русских липован в Румынии, немцев и греков в России). Последние, по нашему мнению, не являются диаспорой, как и русские на Украине и в Казахстане. А вот российские (поволжские) немцы в Германии – это российская диаспора! Но об этом ниже.

Огромное разнообразие ситуаций сводится в единую категорию фактически на основе одного признака “исторической родины”, которая, в свою очередь, не может быть определена более или менее корректно, и чаще всего это результат инструменталистского, преимущественно элитного выбора. Т.е. российские немцы (вернее, общественные активисты и интеллектуалы из их среды) принимают решение о Германии как о своей родине, хотя никогда из нее не уезжали, ибо Германии до 1871 г. не существовало (не было и самих немцев как общности). Это решение обычно носит внутригрупповой характер и имеет определенный утилитарный смысл (обеспечение внешней поддержки, защиты на месте проживания или аргумент в пользу избранного места экономической миграции). Но данное решение может

быть и навязано извне, особенно со стороны государства или окружающего населения. Таким мощным насильственным “напоминанием” того, что есть другая родина для российских немцев, например, стала сталинская депортация в период Второй мировой войны, а позднее – этнически избирательная миграционная политика Германии.

Подобным же, кстати, жестким напоминанием было интернирование части американцев – гавайских японцев – вскоре после нападения на Пёрл-Харбор в декабре 1941 г. К тому времени большинство их уже считали себя не японцами, а “азиато-американцами” (Asian Americans). Жителям югославского Косово албанского происхождения тоже жестко напомнили, что они – диаспора и их родина – Албания, хотя распропагандированные радикальными национал-сепаратистами косовары раньше были больше готовы считать себя отдельной общностью, которая культурно ближе к сербам, чем к южным албанцам. В случае с албанцами в ситуации косовского кризиса вообще крайне рискованно точно сказать, где есть албанская диаспора на Балканах, зато легко легко это сделать в США или Германии, но в Косово вполне возможен исторический вариант самоопределения (в рамках Югославии или вне ее) уже новой общности – косоваров, ибо последним воссоединиться с бедной “исторической родиной” не очень хочется.

Кстати, косовские албанцы говорят на диалекте албанского языка, сильно отличающемся от варианта албанского, который преобладает и является официальным в Албании. Это фактически разные и взаимонепонимаемые языки. Значит, разрабатывать диаспорный проект для одержавших победу с помощью НАТО косовских радикалов политически и экономически невыгодно.

Именно поэтому и чаще всего “родина” – это рациональный (инструменталистский) выбор, а не исторически детерминированное предписание. Понтийские греки в России, эмигрирующие на “историческую родину”, – еще один пример достаточного произвольного и рационального выбора. Родина появляется, если она не Сомали, а сытая Германия и относительно благополучная Греция. Нищая Албания до “родины” не дотягивает, хотя всячески старается выступать в подобной роли. Не будь столь циничного исключения русских из нового гражданства в Латвии и Эстонии, более благоприятная социальная (и даже климатическая) среда в этих странах по сравнению с нынешней Россией совсем не стимулировала бы выбор исторической родины в пользу последней. Более 90% русских жителей в этих странах считают их своей родиной, и часть местных интеллектуалов разрабатывает идею

балто-славянской отличительности. Но стоит России или хотя бы Ивангороду обрести облик сытости и благополучия, русские жители Нарвы могут существенно поменять свои ориентации, особенно если сохранятся препятствия на пути их полноправной интеграции в доминирующее общество. Тогда возможен не только вариант манифестирования диаспорности, но и ирредентизм, т.е. движение за воссоединение.

Исторические групповые миграции, дрейф самой этнической идентичности¹⁴ и подвижность политической лояльности затрудняют определение “исторической родины”. Однако это понятие крайне распространено в общественно-политическом дискурсе и даже кажется самоочевидным. Я не могу дать ему строгую академическую дефиницию, но признаю как условность и поэтому считаю возможным включить в набор характеристик, которые могут обозначать или отличать феномен диаспоры. Таким образом, *диаспора – это те, кто сам или их предки были рассеяны из особого “изначального” центра в другой или другие периферийные или зарубежные регионы. Обычно под “родиной” имеется в виду регион или страна, где сформировался историко-культурный облик диаспорной группы и где продолжает жить основной культурно-схожий с ней массив. Это своего рода штатная ситуация, но и она при ближайшем рассмотрении оказывается сомнительной.*

Скорее всего под родиной понимается политическое образование, которое через свое название или доктрину провозглашает себя родиной той или иной культуры при отсутствии других конкурентов. Так, едва ли современная Турция будет оспаривать у Армении право называться исторической родиной армян (хотя у нее может быть на это право) и по понятным соображениям (осуществленный в Турции геноцид армян) уступает это право современной Армении. Зато Греция по политическим и культурным соображениям не желает передавать право “родины” македонцам – жителям государства с подобным названием. Иногда одна и та же территория (Косово и Карабах) считается “исторической родиной” нескольких групп (сербы и албанцы, армяне и азербайджанцы). Одна и та же группа в зависимости от ситуации может считать “родиной” несколько мест, вернее, государств. Для российских немцев в Казахстане это может быть как Германия, так и Россия – в любом случае есть свои аргументы, если того пожелают сами немцы и не предпочтут новый вариант – стать “казахстанцами”. Но главное – это сам момент ситуативности, т.е. определенного выбора в определенный исторический момент.

ДИАСПОРА КАК КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ И КАК ПРЕДПИСАНИЕ

Здесь мы подходим к следующей характеристике диаспоры. *Это наличие и поддержание коллективной памяти, представления или мифа о “первичной родине” (“отечестве” и пр.), которые включают географическую локацию, историческую версию, культурные достижения и культурных героев.* Представление о родине как коллективная память есть созданная и выученная конструкция, которая, как любая коллективистская идеология, авторитарна по отношению к отдельной личности или каждому члену диаспоры. Ибо в личностном плане представление о родине у человека – это прежде всего его собственная история, т.е. то, что он прожил и помнит.

Для каждого человека родина – это место рождения и взросления. Так, для русского, родившегося и выросшего в Душанбе, родина – это речка Душанбинка и отчий дом, а не рязанская или тульская деревня, куда ему пришлось ныне переехать и куда выученная версия или местные таджики указывают ему как на историческую родину. И тем не менее он (она) вынужден(а) принимать эту версию и играть по навязанным правилам в историческую родину – Россию, тем более, что часть местных русских, особенно представители старшего поколения, действительно приехали в Душанбе или Нурек из Рязани или Тулы, о чем хорошо помнят и передают эту память детям.

Таким образом, в диаспоре почти всегда присутствует коллективный миф о родине, который транслируется через устную память или тексты (литературные и бюрократические) и политическую пропаганду, включая устрашающий лозунг “Чемодан, вокзал, Россия!”

Несмотря на частое расхождение с индивидуальным опытом (чем старше диаспора, тем это расхождение больше), этот коллективный миф постоянно поддерживается, широко разделяется и поэтому может длительно существовать, находя в каждом новом поколении своих адептов. При этом приверженность ему не имеет строгой зависимости от исторической глубины диаспоры: “свежая диаспора” может отвергать коллективную память и даже индивидуальную историю в пользу других более актуальных установок, но в какой-то момент реанимировать прошлое в грандиозном масштабе. Даже в случае, казалось бы, вполне очевидной полной ассимиляции всегда могут найтись культурные предприниматели, которые возьмут на себя миссию возрождения и коллективной мобилизации и добьются в этом значительных успехов. Почему это происходит? Конечно, не по причине

некоего “генетического кода” или культурной предопределенности, а прежде всего по причине рациональных (или иррациональных) стратегий и с инструменталистскими (утилитарными) целями.

И здесь мы подходим еще к одной характеристике феномена диаспоры, которую я называю фактором доминирующего общества или среды существования диаспоры. *Идеология диаспоры предполагает, что ее члены не верят в то, что они есть интегральная часть и, возможно, никогда не смогут быть полностью приняты обществом проживания и по этой причине хотя бы частично чувствуют свое отчуждение от этого общества.* Чувство отчужденности прежде всего связано с социальными факторами, особенно с дискриминацией и принижением статусом представителей той или иной группы.

Безусловный фактор отчуждения – культурный (прежде всего языковой) барьер, который, кстати, легче и быстрее всего преодолевается. В ряде случаев труднопреодолимый барьер может создавать и фенотипическое (расовое) различие. Но даже успешная социальная интеграция и благоприятная (или нейтральная) общественно-политическая среда не могут избавить от чувства отчуждения.

Иногда, особенно в случае трудовых (прежде всего аграрных) миграций, отчуждение вызвано трудностями хозяйственной адаптации к новой природной среде, требующей радикальной смены систем жизнеобеспечения и даже природно-климатической адаптации. Горы долго снятся тем, кому приходится учиться обрабатывать равнинные пашни, а березки – тем, кто сражается с пыльными бурями в канадских прериях, чтобы спасти урожай. И все же последнее (“ландшафтная ностальгия”) проходит быстрее, чем жесткие социальные (расовые тоже в этой же категории) клетки, из которых представители диаспор выбираются поколениями, иногда на протяжении всей известной истории. Есть интересные случаи, когда, например, к “пробившимся” японо-американцам “пристраиваются” фенотипически схожие калмыки США в целях снижения барьера диаспорности.

Именно отсюда рождается еще одна отличительная черта диаспоры – *романтическая (ностальгическая) вера в родину предков как в подлинный, настоящий (идеальный) дом и место, куда представители диаспоры или их потомки должны рано или поздно возвратиться.* Обычно здесь имеет место довольно драматическая коллизия. Образование диаспоры связано с психологической травмой в результате миграции (переезд всегда есть жизненно важное решение) и тем более с трагедией насильствен-

ного перемещения или исхода. Чаще всего перемещение происходит из менее благополучной социальной среды в более благополучные и обустроенные социальные и политические сообщества (основным фактором пространственного передвижения людей на протяжении всей истории остаются прежде всего экономические соображения). Хотя в отечественной истории XX в. идеологические и вооруженные коллизии выступали часто на передний план. Даже в этих случаях частная социальная стратегия присутствовала подспудно. Как сказал мне один из информантов, житель Калифорнии Семен Климсон, “как я увидел это богатство (речь шла об американском лагере для перемещенных лиц. – В.Г.), так и возвращаться из плена в мою разоренную Белоруссию не захотелось”.

Идеальная родина и политическое отношение к ней могут сильно различаться, и поэтому “возвращение” понимается как восстановление некоей утраченной нормы или приведение этой нормы-образа в соответствие с идеальным (рассказанным). Отсюда рождается еще одна характерная черта диаспоры – убеждение, что ее члены должны коллективно служить сохранению или восстановлению своей первоначальной родины, ее процветанию и безопасности. В ряде случаев именно вера в эту миссию обеспечивает этнообщинное сознание и солидарность диаспоры. Фактически отношения в самой диаспоре строятся вокруг “служения родине”, без чего нет самой диаспоры.

Далеко не все случаи могут включать описанные характеристики, но именно этот широкий комплекс чувств и веры – определятельная основа диаспоры. Поэтому если говорить о более строгой дефиниции, то, вероятно, наиболее подходящей может быть не та, которая исходит из объективного набора культурных, демографических или политических характеристик, а та, которая строится на понимании феномена как ситуации и ощущения. История и культурная отличительность – это только основа, на которой возникает феномен диаспоры, но сама по себе эта основа не является достаточной. Таким образом, *диаспора – это культурно-отличительная общность на основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе коллективной связи, групповой солидарности и демонстрируемого отношения к родине. Если нет подобных характеристик, значит, нет и диаспоры. Другими словами, диаспора – это стиль жизненного поведения, а не жесткая демографическая и тем более этническая реальность, и потому данное явление отличается от остальной рутинной миграции.*

В подтверждение своего тезиса, что диаспора – это ситуация и личный выбор (или предписание), приведу несколько приме-

ров. Очень интересная и противоречивая рефлексия на этот счет просматривается в книге Майкла Игнатьева: “Я чувствовал, что должен выбирать одно из двух прошлых – канадское или русское. Экзотика всегда привлекательнее, и я старался быть сыном своего отца. Я выбрал прошлое исчезнувшее, прошлое, утраченное в пожаре революции. На прошлое матери я смело мог рассчитывать: оно всегда оставалось при мне (мать Майкла – канадка английского происхождения. – *В.Т.*). Прошлое же отца для меня значило гораздо больше: это прошлое мне еще предстояло воссоздать, прежде чем оно стало моим”.

И далее:

“Сам я тоже никогда не изучал русский язык. Мою неспособность выучить его я объясняю теперь подсознательным сопротивлением прошлому, которое я, казалось бы, сам для себя выбрал. Предания старины никогда не навязывались мне, так что мой протест был направлен не против отца или его братьев, а скорее против моего собственного внутреннего влечения к этим чудесным историям, против того, что казалось мне постыдным стремлением устроить свою маленькую жизнь в тени их славы. Я не был уверен, что имею право на протекцию со стороны прошлого, а если и допускал это, то не желал воспользоваться такой привилегией. Когда я поделился своими сомнениями с одним из моих друзей, тот ехидно заметил, что не слышал, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь отказывался от своих привилегий. Поэтому я пользовался своим прошлым всегда, когда это было мне необходимо, но всякий раз испытывал при этом чувство вины. Мои друзья в большинстве своем имели заурядное прошлое, или даже такое, о котором предпочитали не распространяться. Я же имею в роду ряд знаменитостей, убежденных монархистов, переживших несколько революций и *героическое изгнание* (курсив мой. – *В.Т.*). И все-таки, чем сильнее была моя в них нужда, тем сильнее становилась внутренняя потребность от них отречься, чтобы создать себя самому. Выбрать прошлое означало для меня установить пределы его власти над моей жизнью”¹⁵.

В период служения главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Джон Шаликашвили никак не желал реагировать на горячие призывы-напоминания со стороны Грузии о его принадлежности к грузинской диаспоре, а это означает, что он и не был представителем этой диаспоры. Он был просто американцем с давними грузинскими корнями, о которых ему напоминала только фамилия (возможно, не всегда в позитивном контексте в процессе продвижения по службе). Уход в отставку и появление свободного времени вызвали у генерала интерес к Грузии, особенно после получения в реституцию дедовского дома и приглашения президента Э. Шеварднадзе дать консультацию в строительстве грузинской национальной армии. Тогда американский генерал уже начал вести себя как пред-

ставитель диаспоры. Именно так появились американские пенсионеры и более молодые *предприниматели от диаспоры* в должности президентов и министров ряда постсоветских государств или сепаратистских регионов (как, например, американцы в должности президентов стран Балтии, иорданец Юзеф в должности дудаевского министра иностранных дел или американец Хованисян в той же должности в Армении). Один из моих аспирантов Рубен К., работающий в московском представительстве непризнанного образования – Нагорно-Карабахской Республики, так и признался мне еще в начале 1990-х годов: “Из-за событий в Карабахе и я решил теперь стать армянином, хотя до того меня это все мало интересовало”.

То, что диаспора – это не статистика и тем более не совокупность лиц с одинаково звучащими фамилиями, подтверждает еще одно мое наблюдение. В конце 1980-х годов я и мой коллега по институту Ю.В. Арутюнян были в США. В Нью-Йорке принимавшая нас профессор Нина Гарсоян, заведующая кафедрой армянских исследований, пригласила нас с Арутюняном 24 апреля в армянскую церковь отметить “самый памятный день для армян”. “А что это у них за праздник?” – была первая реакция коллеги. Формально оба (Арутюнян и Гарсоян) могли считаться представителями армянской диаспоры: один – дальней, другой – ближней, или внутренней (до распада СССР). Более того, Ю.В. Арутюнян даже специально изучал армян-москвичей и дал интересный социально-культурный анализ этой части жителей города. Но в данном случае мы имеем принципиально два разных случая. Один – пример манифестируемого диаспорного поведения (не только регулярное посещение армянской церкви, но и интенсивное воспроизводство “армянскости” на территории США и за ее пределами); другой – пример молчаливой этничности низкого уровня, когда человек по культуре, языку и личному участию в социальном производстве (один из ведущих советских, российских ученых-социологов) – скорее русский, чем армянин, и никак не участвует в дискурсе по поводу армянской диаспоры. В статистику армянского зарубежья (даже в собственных трудах) он может попасть, но представителем диаспоры не является.

МЕХАНИЗМ И ДИНАМИКА ДИАСПОРЫ

Именно социально конструируемые и реконструируемые содержательные образы диаспоры делают ее трудноопределимым в смысле границ и членства и в то же время очень динамичным явлением, особенно в современной истории. Диаспоры новейше-

го времени – это далеко не “сколки с этноса”, как полагают некоторые ученые. Это – мощнейшие исторические акторы, способные вызывать и влиять на события самого высокого порядка (например, войны, конфликты, создание или распад государств, опорное культурное производство). Диаспоры – это политика и даже геополитика на протяжении всей истории, а в современный период особенно. Неслучайно англоязычный научный журнал на эту тему называется “Диаспора: журнал транснациональных исследований”.

Сначала скажем о механизме и языке диаспоры как одной из форм исторического дискурса. Поскольку мы проводим различие между понятиями “миграция” и “диаспора”, многие механизмы анализа и описания последнего явления должны быть также различными и не ограничиваться традиционным интересом к процессам ассимиляции, статуса и этнокультурного своеобразия. Другими словами, изучение американских калмыков как иммигрантской группы и взгляд на нее как на диаспору – это два разных ракурса исследования и даже два схожих, но разных явления. В равной мере диаспора – это не просто этнически- или религиозно-отличительные группы иммигрантского происхождения.

Во-первых, не все иммигрантские группы ведут себя как диаспора и считаются таковой в восприятии окружающего общества. Едва ли можно назвать диаспорой испано-американцев в США, включая не только потомков жителей к югу от Рио-Гранде, но и более “свежих” эмигрантов из Мексики. Эта группа явно не мексиканская и тем более не испанская диаспора, хотя в академическом и политическом просторечии эта категория населения в США называется Hispanic. Но тогда что и почему становится диаспорой?

Хорошей разъясняющей антитезой здесь может быть пример с кубинской иммиграцией США. Это почти миллионное население с общим доходом, превышающим валовой национальный продукт всей Кубы, безусловно, является кубинской диаспорой. Оно демонстрирует одну из важнейших характеристик диаспорного поведения – активный и политизированный дискурс о родине, который включает идею “возвращения” как на родину, так и самой родины, которую, по представлению кубинцев в США, у них украл Фидель Кастро. Вполне возможно, что идея возвращения – это лишь изощренная форма и средство интеграции кубинских иммигрантов в доминирующем обществе, политики которого уже несколько десятилетий тоже одержимы вернуть старую Кубу. Однако нельзя исключать, что кубинская эмиграция (причем не только в США) ведет себя как диаспора, ибо через это выражаются сопротивление ее приниженному статусу в новой стра-

не пребывания и, возможно, желание вернуться жить на родину или *вернуть родину* как место деловой деятельности, ностальгических путешествий и родственно-дружеских связей.

Во-вторых, очертания каждой конкретной диаспоры и групповые этнокультурные границы часто не совпадают: это не одинаковые ментальные и пространственные ареалы. Диаспора часто бывает многоэтничной и своего рода собирательной категорией (более обобщенной) по сравнению с категорией иммигрантской группы. Происходит это по двум причинам: более дробного восприятия культурного многообразия в стране происхождения (*индийцы* – это для внешнего мира, а в самой Индии живут не индийцы, а маратхи, гуджаратцы, ория и еще несколько сотен других групп, не говоря уже о разности религий и каст) и более обобщенного восприятия инокультурного населения в принимающем обществе (все выглядят как индийцы или даже азиаты, все выходцы из Испании на Кубе просто испанцы, а все адыгские и даже некоторые другие народы с Кавказа за рубежами России – это черкесы).

Один из таких собирательных и многоэтничных образов – *русская (российская) диаспора*, особенно так называемое дальнее зарубежье в отличие от “нового” зарубежья, которое еще требует своего осмысления. Длительное время “русскими” за рубежом считались все, кто прибыл из России, в том числе, конечно, евреи. Это же остается характерным для современного периода. Даже в “ближнем зарубежье”, например в Средней Азии, украинцы, белорусы, татары в восприятии местных жителей – это “русские”. Кстати, для собирательного обозначения большую роль играет и чисто лингвистическая гетероглоссия. Для западного и шире – для внешнего мира – понятие *Russian Diaroga* – это не русская, а российская диаспора, т.е. данное понятие изначально не имеет исключительно этнической привязки. Сужение происходит при обратном неточном переводе на русский язык слова *Russian*, которое в большинстве случаев должно переводиться как “российский”. Но дело далеко не в языковой гетероглоссии при формировании ментальных границ диаспоры.

Диаспора часто принимает новую целостность и более гетерогенную (внеэтническую) идентичность и считает себя таковой по причинам как внешнего стереотипа, так и реально существующей общности по стране происхождения и даже по культуре. При всем идеологически мотивированном скептицизме *Homo sovieticus* – это далеко не химера как форма идентичности в бывшем СССР, а тем более как форма общей солидарности представителей советского народа за границей (“Все равно все говорим, хотя бы между собой, по-русски, а не на иврите или на армянском”, – сказал мне один из советских эмигрантов в Нью-Йорке).

В равной мере многоэтничный, более широкий характер носят многочисленные диаспоры, которые называются “китайская”, “индийская”, “вьетнамская”. В Москве можно видеть торгующих индийцев и вьетнамцев. И те, и другие общаются между собой на английском и русском языках соответственно, ибо их родные языки в стране исхода – разные. Но в Москве они воспринимаются и ведут себя солидарно как индийцы и вьетнамцы.

Таким образом, в основе создания диаспорных коалиций лежит преимущественно фактор общей страны происхождения. Так называемое *национальное государство, а не этническая общность есть ключевой момент диаспорообразования*. Современная “русская диаспора” в США происходит из государства, где этничность имела значение (или просто настойчиво насаждалась), а в стране нового пребывания – уже нет. В США для “русских” общие язык, образование, игра “КВН” становятся объединителями и заставляют забыть, что было записано в пятой графе советского паспорта.

Диаспору объединяет и сохраняет нечто большее, чем культурная отличительность. Культура может исчезнуть, а диаспора – сохранится, ибо последняя как политический проект и жизненная ситуация выполняет особую по сравнению с этничностью миссию. Это – политическая миссия служения, сопротивления, борьбы и реванша. Американские ирландцы в этнокультурном смысле уже давно не больше ирландцы, чем остальное население США, дружно празднующее День святого Патрика. Что касается политического и другого участия, связанного с ситуацией в Ольстере, здесь они ведут себя отчетливо как ирландская диаспора. Именно диаспорные формы поведения демонстрируют российские армяне и азербайджанцы в вопросе конфликта вокруг Карабаха, хотя в других ситуациях их диаспорность никак не носит выраженный характер (“Зачем я должен отдавать землю, где покоятся кости моих предков?” – заявил один проживший всю жизнь в Москве известный азербайджанец-шахматист, имея в виду Нагорный Карабах).

Более широкие границы диаспорных коалиций могут строиться на основе общего негативного опыта расовой или экономической маргинализации. Общая история колониальной и неоколониальной эксплуатации объединяет проживающих во Франции выходцев из Алжира, Марокко и Туниса и делает их *магрибской* диаспорой. В 1970-е годы можно было наблюдать, как в Англии мощный наплыв иммигрантов из Южной Азии, афро-карибцев и африканцев заставлял последних выстраивать солидарные диаспорные сети на основе неразделенного восприятия этих иммигрантов как “черных” со стороны доминирующего общества.

Итак, что и как производит диаспору, если это не просто иммигрантская группа в населении той или иной страны? И каковы в этом аспекте перспективы российской диаспоры? Один из основных производителей диаспоры – страна-донор, причем не просто в утилитарном смысле как поставщик человеческого материала, хотя последнее обстоятельство носит отправной характер: нет страны исхода – нет и диаспоры. Однако часто бывает, что диаспора старше самой страны, по крайней мере в понимании страны как государственного образования. Пример с российскими немцами мной уже приводился. Особенно он распространен в отношении регионов недавнего государствообразования (Азия и Африка), которые в глобальном масштабе являются основными поставщиками мировых, наиболее крупных диаспор. Российская диаспора – одна из самых многочисленных – не может сравниться с китайской, индийской или японской. Возможно, она даже меньше магрибской.

ГДЕ И КОГДА РОССИЙСКАЯ ДИАСПОРА?

Нам не хотелось бы заниматься упрощенным пересказом, однако напомним, что Россия за последние полтора века была в демографическом аспекте довольно мощным поставщиком эмиграции, а значит, и потенциальной диаспоры, если таковая образовывалась по предложенным нами различительным критериям. Опять же заметим, что не все выехавшие из России – это состоявшаяся диаспора или всегда диаспора.

Тем не менее в дореформенной России наблюдались интенсивная пространственная колонизация и преимущественно религиозная эмиграция (русские старообрядцы). И хотя переселенцы XVIII – первой половины XIX в. почти все оказались в составе расширяющей свои границы России, часть их поселилась в Добрудже, вошедшей в состав Румынии и Болгарии с 1878 г., и на Буковине, отошедшей с 1774 г. к Австрии. Еще раньше, в 70–80-е годы XVIII в., имел место отток более 200 тыс. крымских татар в пределы Османской империи: в европейской части Турции (Румелии) в начале XIX в. проживали 275 тыс. татар и ногайцев¹⁶. В 1771 г. примерно 200 тыс. калмыков ушли в Джунгарию (кстати, калмыки – интересный пример множественной диаспорной идентичности: для многих из них родина – это каждая предыдущая страна исхода или несколько стран сразу в зависимости от ситуации и личностного или группового выбора). В 1830–1861 гг. имели место второй исход крымских татар и ногайцев, а также эмиграция поляков. Но этот случай уже давно перестал отно-

ситься к ареалу российской диаспоры, как, кстати, недавно перестали быть частью российской диаспоры и крымские татары. На обе эмигрантские группы в разные периоды появились новые владельцы “исторической родины” – Польша и Украина.

В пореформенные десятилетия пространственные движения населения значительно увеличились. Свыше 500 тыс. выехали в 1860–1880-е годы (в основном поляки, евреи, немцы) в соседние государства Европы и небольшая часть – в страны Америки. Но особенность этой волны эмиграции в том, что она не привела к образованию устойчивой, или исторической, российской диаспоры, еще раз подтверждая наш тезис, что не каждое переселение на новое место ведет к образованию диаспоры. А причина здесь в том, что по своему этническому, религиозному составу и социальному статусу эта эмиграция уже (или еще) была диаспорой в стране исхода, а более позднее появление “настоящей исторической родины” (Польши, Германии и Израиля) исключило возможность выстраивания диаспорной идентичности с Россией. Хотя в принципе это было вполне возможно, ибо у исторически более давней (идеологически сконструированный Израиль как еврейская прародина) или у географически более локальной (Польша как часть России) территории шансов быть родиной не больше, чем у большой страны.

Другими причинами того, что ранняя эмиграция из России не стала базой для образования диаспоры, могли быть сам характер миграции и историческая ситуация в принимающей стране. Это была отчетливо неидеологическая (трудовая) эмиграция, поглощенная сугубо хозяйственной деятельностью и экономическим выживанием. В ее среде еще было крайне недостаточно представителей интеллектуальной элиты и этнических активистов (диаспорных предпринимателей), которые взяли бы на себя труд политического производства диаспорной идентичности. Без интеллектуалов как производителей субъективных представлений нет диаспоры, а есть просто эмигрантское население. Возможно, свою роль сыграл также антицаристский содержательный момент ранних российских эмиграций, но этот аспект следует специально изучать, и мне трудно определенно высказаться по этому сюжету. Скорее это был второстепенный момент для большинства неграмотного населения, вовлеченного в переезд.

В последние два десятилетия XIX в. эмиграция из России резко возросла. Уехало примерно 1140 тыс. человек, в основном в США и Канаду. Особую группу составили “мухаджиры” – жители преимущественно западной части Северного Кавказа, покинувшие территории своего проживания в ходе Кавказской войны. Они переселились в разные регионы Османской империи, но

больше всего – на Малоазиатский п-ов. Их численность, по разным источникам, колеблется от 1 до 2,5 млн человек. Последние составили основу для черкесской диаспоры, которая в момент происхождения не была российской, а стала таковой уже после включения Северного Кавказа в состав России.

Черкесская диаспора изучена в отечественной литературе слабо, но есть основания полагать, что в ряде стран эта часть переселенцев осознавала и вела себя как диаспора: действовали ассоциации, политические объединения, существовали печатные органы и солидарные связи, предпринимались направленные меры по сохранению культуры и языка.

Однако вклад страны-донора в сохранение диаспоры помимо первичного выброса населения был минимальным, особенно в советский период. Не только осуществлять связи, но даже писать о мухаджирах в научных трудах было почти невозможно. Родина надолго, а для многих и навсегда исчезла из идеологического комплекса диаспоры. Кавказ был где-то там, за “железным занавесом”, и питал диаспору слабо. Единственное обратное воздействие происходило через идеологическую и политическую миссию борьбы с СССР и коммунизмом, но этим занимались только единицы, как, например, Абдурахман Авторханов – чеченский политолог и публицист, проживавший в ФРГ. Его представление о родине было столь смутным, что описание Авторхановым истории депортаций чеченцев и ингушей строилось на убеждении, что вайнахский народ исчез в горниле сталинских репрессий. Отсюда и родилась известная метафора “народоубийства”.

По причине исторической давности и полной изоляции от родины черкесская диаспора или таяла, или оставалась обычным иммигрантским населением, подвергавшимся местной интеграции и ассимиляции. Ее актуализация произошла в самые последние годы именно под воздействием родины, когда в СССР, а затем в России и других постсоветских государствах осуществлялись драматические трансформации. Новая родина вспомнила о диаспоре раньше, чем сам диаспорный материал, ибо последний был нужен для целого ряда новых коллективных, групповых стратегий.

Во-первых, наличие соотечественников (соплеменников) за рубежом помогало советским людям осваивать внезапно открывшийся для них внешний мир. Во-вторых, новые формы деятельности, например предпринимательство, порождали надежды на “богатую диаспору”, члены которой могут помочь в серьезном бизнесе или хотя бы в организации шоп-туров в Турцию, Иорданию, США и другие страны. В-третьих, мифические миллионы эмигрантов, якобы готовых вернуться на свою историческую ро-

дину, могли поправить демографический баланс и пополнить ресурсы для тех, кто, пребывая в меньшинстве, задумал образовать “свое” государство в ходе “парада суверенитетов”. Первыми предприняли отчаянные усилия добавить к своей численности зарубежных соплеменников абхазы. За ними последовали казахи, чеченцы, адыгейцы и некоторые другие группы.

Именно этот новый импульс от родины пробудил диаспорные чувства среди части уже постаревшей и почти растворившейся северокавказской эмиграции. Нынешние косовские адыги и слыхом не слыхивали об Адыгее, и специалисты не фиксировали с их стороны какого-либо интереса к последней даже в период либерализации в России. Полуторавековая эмиграция косовских адыгов и их нулевые связи с “родиной” привели к тому, что культурный облик косовских и российских адыгов стал очень разным. Подавляющее большинство первых говорит на сербско-хорватском языке, вторые – преимущественно на русском или на адыгском. Однако желание “владельцев” диаспоры поправить в свою пользу демографический баланс через “репатриацию” (в Адыгее на этот счет в 1998 г. был принят особый закон) побудило их агитировать косовских адыгов за переезд и делать последним щедрые посулы, вплоть до лоббирования особого постановления правительства РФ по данному вопросу. Не было счастья, да несчастье помогло: напряженная ситуация в Косово (т.е. на подлинной родине косовских адыгов) стала действительно нетерпимой и заставила откликнуться (т.е. согласиться с диаспорным поведением) несколько десятков семей, которым адыгейские власти пообещали радушный прием и даже постройку домов.

События в Югославии способны возродить образ России (Адыгеи) как родины для тех косовских адыгов, которые не смогут остаться в Косово или эмигрировать в более благополучные страны. Но это уже другой фактор производства диаспоры – внутренний, о котором речь пойдет ниже. В целом же случай черкесской диаспоры скорее свидетельствует о том, *что исторически давние миграции и изоляция от родины редко создают устойчивые и полнокровные диаспоры, как бы на этот счет ни фантазировали энтузиасты “зарубежья” в самой стране исхода.*

Возможно, аналогичная ситуация сложилась бы и с другой частью (преимущественно восточнославянской) эмиграции из России конца прошлого века, если бы не происходила ее мощная и периодическая подпитка в последующее время. В первые полтора десятилетия XX в. эмиграция из страны еще более усилилась. До первой мировой войны Россию покинуло еще около 2,5 млн человек, переселившихся в основном в страны Нового Света. Всего примерно за 100 лет с начала массовых внешних ми-

граций из России выехало 4,5 млн человек. Кстати, следует помнить, что в этот же период в страну прибыло 4 млн иностранцев, часть из которых образовала условные внутрироссийские диаспоры, о которых следует говорить особо.

Можно ли считать всю эту массу выходцев из дореволюционной России диаспорой? Наш ответ: конечно, нет. Во-первых, территориально почти всех эмигрантов того периода поставляли Польша, Финляндия, Литва, Западная Белоруссия и Правобережная Украина (Волынь), и тем самым Россия создавала диаспорный материал в значительной мере для других стран, которые исторически возникли в последующие периоды. Хотя многие из выехавших культурно были сильно русифицированы и даже считали родным языком русский, едва ли возможно ближайшего соратника Адольфа Гитлера Альфреда Розенберга, который был выходцем из Литвы и лучше говорил по-русски, чем по-немецки, считать представителем русской эмиграции. Между тем современные политические спекуляции историков позволяют создавать подобные конструкции. Недавно радиостанция “Свобода” посвятила одну из своих передач книге американского историка Уолтера Лакиера “Русские истоки фашизма”, где как раз случай с гитлеровскими соратниками из российской Прибалтики был положен в основу конструкции происхождения фашизма в России! При этом трудноуязвимое выражение “русские истоки фашизма” (Russian Roots of Fascism) в неточном (но часто встречающемся) обратном переводе (“русские”) оказалось абсолютно неприемлемым и откровенно провокационным.

Во-вторых, этнический состав этой эмиграции также повлиял на судьбу последней в плане ее возможности стать российской диаспорой и именно в этом качестве интерпретироваться историками. В числе российских эмигрантов в США 41,5% составляли евреи (72,4% прибывших в эту страну евреев). Погромы и сильная дискриминация евреев в России, а также нищета обусловили у них глубокий и длительно сохраняющийся отрицательный образ родины, который отчасти остается до сих пор. Успешная интеграция этой части эмигрантов в американское общество (не без проблем и дискриминации вплоть до середины XX в.) также обусловила быстрое забывание “русскости”, а тем более “русскости”. Встреченные мной в США, Канаде и Мексике многие потомки этой части эмиграции (более десятка только одних коллег-антропологов!) почти никак не сохранили и не ощущали сопричастность к России. А значит, и не были ее диаспорой.

Но главное даже не в этом, ибо сам по себе негативный образ и успешная интеграция не являются безоговорочными разрушителями диаспорной идентичности. В случае с евреями важным

оказалось еще одно историческое обстоятельство – появление родины-конкурента, причем довольно успешного. Израиль добился победы в этой конкуренции путем обращения к религии и демонстрации более успешного социального устройства, чем в России, а также пропагандой идеи *алии*.

В самые последние годы мной зафиксированы случаи возвращения к российским корням потомков давних эмигрантов-евреев, но это были преимущественно иностранные граждане–молодые авантюристы, которых привлекала перспектива сделать быстрые деньги в условиях российских экономических трансформаций. Одному из них, Александру Рэндаллу, основавшему фирму “Бостон компьютер иксчейнч” (идея сплавить в СССР устаревшие американские компьютеры), были переведены первые заработанные Институтом этнографии 5 тыс. долл. США, и эта жертва (институт получил откровенный металлолом), как я слабо надеюсь, хотя бы способствовала конъюнктурной диаспорной сопричастности молодого американца к России (“У меня где-то кто-то давно был из России, но я ничего не помню”, – сказал он).

Из 4,5 млн эмигрантов из России только около 500 тыс. считались “русскими”, но на самом деле это были также украинцы, белорусы, часть евреев. Перепись США 1920 г. зафиксировала 392 тыс. “русских” и 56 тыс. “украинцев”, хотя это явно завышенные цифры, так как среди них были представители многих этнических групп, особенно евреев. В Канаде перепись 1921 г. также зафиксировала почти 100 тыс. “русских”, однако на самом деле в эту категорию оказались включены почти все восточные славяне и евреи, выехавшие из России.

Таким образом, всего за годы дореволюционной эмиграции Россия поставила 4,5 млн человек в качестве диаспорного материала для разных стран, из которых только не более 500 тыс. были русские, украинцы и белорусы. Кто из многочисленных потомков этих людей ощущает сегодня свою связь с Россией, сказать крайне трудно. С украинцами ситуация яснее, ибо они по ряду причин вели себя “диаспорнее”, чем этнические русские. Белорусы скорее всего совершили переход в русскую или украинскую группу потомков.

Фактически исторический отсчет традиционной для современности российской диаспоры начинается позднее в связи с миграционными процессами после 1917 г. В 1918–1922 гг. большого размаха достигла политическая эмиграция групп населения, которые не приняли советскую власть или потерпели поражение в гражданской войне. Размер так называемой белой эмиграции определить трудно (примерно 1,5–2 млн человек), но ясно одно: впервые подавляющее большинство эмигрантов составили этни-

ческие русские. Именно об этой категории населения можно говорить не только как о диаспорном человеческом материале, но и как о манифестной (в смысле жизненного поведения) диаспоре с самого начала возникновения этой волны мигрантов.

Объясняется это рядом обстоятельств, подтверждающих наш тезис, что *диаспора – это явление прежде всего политическое, а миграция – социальное*. Элитный характер мигрантов, а значит, более обостренное чувство утраты родины (и имущества) в отличие от трудовых мигрантов “в овечьих тулупах” (известное прозвище славян-иммигрантов в Канаде) обусловили гораздо более устойчивое и эмоционально окрашенное отношение к России. Именно эта эмиграция-диаспора вобрала в себя почти все данные мной выше характеристики, в том числе и производство параллельного культурного потока, который ныне частично возвращается в Россию. Именно эта эмиграция не имела и не имеет никакой другой конкурирующей родины, кроме России, во всех ее исторических конфигурациях XX в. Именно к этой эмиграции в последнее десятилетие оказались больше всего направлены симпатии страны исхода, согрешившей в процессе демонтажа господствовавшего политического порядка радикальным отторжением всего советского периода как некой исторической аномалии.

Ностальгией оказалась охвачена не столько диаспора, сколько ее современные отечественные потребители, желавшие увидеть в ней некую утраченную норму, начиная от манер поведения и заканчивая “правильной” русской речью. Русская (российская) диаспора как бы родилась заново, облакванная вниманием и извиняющей щедростью современников на исторической родине. На наших глазах историки сконструировали миф о “золотом веке” русской эмиграции, с которым еще придется разбираться с помощью новых более спокойных прочтений.

Было бы несправедливо, с точки зрения исторической корректности, забыть то обстоятельство, что “белая эмиграция” существовала и сохранилась не просто в силу своего элитно-драматического характера, но и потому, что продолжала получать пополнение в последующие исторические периоды. Во время Второй мировой войны из почти 9 млн пленных и вывезенных на работы к 1953 г. вернулось около 5,5 млн человек. Многие были убиты или умерли от ран и болезней. Однако не менее 300 тыс. так называемых перемещенных лиц остались в Европе или уехали в США и другие страны. Правда, из этих 300 тыс. только меньше половины были с территории СССР в старых границах. Не только культурная близость со старой эмиграцией, но и идеологическое сходство в отторжении (точнее, в невозможности воз-

врата) СССР позволили более интенсивное смешение этих двух потоков (в сравнении с ситуацией враждующей диаспоры), а значит, и поддержание языка и даже мизерных послесталинских связей с родиной (после Хрущева). Мой информант Семен Климон, молодым человеком вывезенный из Белоруссии немцами, женился на Валентине – дочке белого эмигранта (родственника генерала Краснова и теософки Блаватской). Валентина Владимировна во время нашей последней встречи в их новом доме в Виргинии летом 1998 г. призналась, что со своим французским образованием чувствует себя больше француженкой (выросла во Франции), но остается русской и сохраняет язык только из-за Семени, который “так и остался русским”.

Не менее, а даже более идеологической была небольшая, но очень политически громкая эмиграция из СССР в 1960–1980-е годы в Израиль, США, затем в Германию и Грецию. В 1951–1991 гг. из страны выехало около 1,8 млн человек (максимально в 1990–1991 гг. – по 400 тыс.), из них почти 1 млн. евреев (две трети – в Израиль и треть – в США), 550 тыс. немцев и по 100 тыс. армян и греков. Эмиграция продолжалась и в последующие годы, но несколько меньшими темпами.

Какое число российских соотечественников живет в дальнем зарубежье? Само число 14,5 млн выехавших из страны мало что говорит, ибо более двух третей жили на территориях, которые включались в состав Российской империи или СССР, а сейчас не являются частью России. Восточнославянский компонент в этом населении был невелик до прибытия основной части “белой эмиграции” и перемещенных лиц. После этого русских выехало мало. В целом русских в дальнем зарубежье насчитывается около 1,5 млн, в том числе в США – 1,1 млн. Что касается лиц, имеющих “русскую кровь”, то их в несколько раз больше.

Большой вопрос: как и кем считать представителей других этнических групп? Выходцы из России создали основные этнические общности в двух странах: в США 80% евреев – это выходцы из России или их потомки, в Израиле не менее четверти евреев – выходцы из России.

НОВЫЕ ДИАСПОРЫ ИЛИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ?

Распад СССР создал ситуацию, которая трудно поддается жестким определениям. Бытовая (вне современной теории) наука и политика, используя традиционный подход и данные переписи 1989 г., объявила, что после распада СССР общая численность

зарубежных россиян – 29,5 млн, из которых русские составляют 85,5% (25 290 тыс.)¹⁷. Все остальные народы, кроме немцев, татар и евреев, не образуют значительных групп в новом зарубежье. Три народа разделены границами примерно на равные общины (две трети осетин в России, треть – в Грузии; треть цахуров в России, две трети – в Азербайджане; лезгины поровну в России и Азербайджане). Все это стало называться “новыми диаспорами”. Естественно, что о “своих” диаспорах заявили и другие постсоветские государства. На Украине начали проводить обширную исследовательскую программу по изучению диаспор, в том числе украинской в России. Но вся эта конструкция зиждется на шатком основании советских этнографических и бюрократических классификаций, которые привязывали представителей той или иной национальности к достаточно произвольно определенной административной территории, называвшейся “территорией своей (или национальной) государственности”.

Никто из советских и нынешних этнических предпринимателей от науки и политики не определял, на территории “чьей” государственности находится его подмосковная дача или московская квартира, но зато с удовольствием записывал территорию, контролировавшуюся красной конницей Валидова в период гражданской войны и ставшую Башкирской республикой, как территорию “своей государственности” башкир. И подобная операция совершалась на протяжении всей советской истории для тех граждан, национальность которых совпадала с названиями “национально-государственных образований” разного уровня. В то же время армянин Эдуард Баграмов, украинец Михаил Куличенко, армянин Эдуард Тадевосян, аварец Рамазан Абдулатипов или гагауз Михаил Губогло, справедливо считающие себя разработчиками советской национальной политики позднего периода и сохранившие свою приверженность ее академической основе, никогда вопрос об “этнической принадлежности” территорий своих подмосковных дач не задавали и представителями “чужих” диаспор в России сегодня себя не считают. Что, на наш взгляд, они правильно делали и делают “по жизни”, однако это означает, что ошибаются “по науке”, или же наоборот, но только никак не вместе. Если есть “этнические территории” и “своя государственность” в смысле этногрупповой принадлежности, значит, она должна быть везде и распространяться не только на горные склоны и сельские уголья, но и на подмосковные земли и городские улицы.

Клише “своей – не своей” этнической территории в рамках одного государства или на трансгосударственном уровне живуче до сих пор, и на его основе строится современный дискурс о пост-

советских диаспорах. К академическим постулатам только добавились дополнительные интерес и аргументы, продиктованные новыми постсоветскими соперничествами. Если Россия приоритетно заботится о разделенном русском народе и своей диаспоре, то тогда почему Украине и Казахстану не ответить тем же, включая требование паритетности в вопросах обеспечения культурных и других запросов представителей “своих” диаспор (как спросил меня один украинский политик: “Сколько там у вас в Краснодарском крае, в Сибири и на Дальнем Востоке детских садиков на украинском языке?”)?

“Новодиаспорная” конструкция безосновательно делит граждан одной страны на диаспору и, видимо, на “основное население”, когда для этого нет значимых культурных и других различий. Украинцы в Сибири и Краснодарском крае, равно как русские в Харькове и Крыму, являются автохтонными жителями и равноправными создателями всех форм государственности, на территории которых они проживали и ныне проживают. От того, что в географическом пространстве прошли новые границы, в том числе в виде визуальных пограничных и таможенных постов, в их повседневности мало что изменилось. Они не перестали быть “основным населением”.

Русский и русскоязычный – это два разных понятия: по переписи 1989 г. русский язык в странах ближнего зарубежья считали родным более 36 млн человек, но на самом деле их значительно больше; на Украине – 33,2% населения, однако реальная цифра – не менее половины; в Белоруссии – 32%, но в действительности он родной для явного большинства населения. Примерно половину населения составляют говорящие на русском языке жители Казахстана и Латвии, несколько меньше в Киргизии и Молдове.

“Новые диаспоры” – это малопримлемая категория, а тем более категория “меньшинства”, в которую “запихнули” эту часть населения представители “титულных наций”. В ситуации неустоявшихся трансформаций и жесткой политизированности предпочтительнее начинать с анализа, а не с категории. Станут ли русские диаспорой в смысле своей групповой отличительности и демонстрируемой связи с родиной – Россией? Это вопрос огромной значимости. И здесь, на наш взгляд, возможны четыре исторические перспективы.

Первая – это полноправная социально-политическая интеграция и частично культурная (на основе двуязычия и многокультурности) в новые гражданские сообщества, построенные на доктрине равнообщинных государств. Это сейчас наиболее сложная, но самая реальная и конструктивная перспектива, с точки зрения

как национальных интересов этих стран, так и интересов России, не говоря о самих русских. Кое-где признаки новой доктрины государственного строительства на основе многоэтнических гражданских наций появляются, однако наследованный и господствующий этнонационализм блокирует эту тенденцию.

Вторая – это формирование более широких конгломеративных коалиций с другими русскоязычными жителями (славянской диаспоры), что маловероятно в условиях довольно успешной “национализации” титульных групп, но, тем не менее, возможно.

Третья – это переход на статус меньшинств и мигрантских групп с перспективой ассимиляции. Это фактически исключено из-за мирового статуса русского языка и культуры, а также мощного соседствующего воздействия России.

Четвертая – массовый исход в Россию. Это возможно для Средней Азии и Закавказья, однако не для других стран, особенно государств Балтии, если Россия вырвется вперед или хотя бы сравняется по социально-экономическим условиям жизни с Прибалтикой.

Самая маловероятная перспектива – это отвоевание доминирующего статуса под свой контроль, что реально только в случае решающего демографического преимущества в условиях более быстрого роста русского населения и значительного выезда из страны титульного населения. В обозримом будущем это возможно только в Латвии и нигде больше. Однако и в этом случае скорее будет существовать ситуация господствующего меньшинства над большинством (“диаспорой”?) благодаря поддержке Европейского сообщества и НАТО (если этот военный блок сохранится).

Есть вариант смены идентичности титульной группой в пользу русской, но это возможно только в Белоруссии и лишь в случае единого государства с Россией. Единое государство снимает и вопрос о диаспоре.

В целом исторический процесс крайне подвижен и многовариантен, особенно когда речь идет о динамике идентичностей. На горизонте мы уже видим принципиально новые явления, которые нельзя осмыслить в старых категориях. Одно из таких явлений – формирование транснациональных общностей за привычным фасадом диаспоры. Исторический процесс в интересующем нас аспекте проходит как бы три стадии: миграция (или изменение границ), диаспора, транснациональные общности. Последнее понятие отражает явление, обнаружившееся в связи с изменением характера пространственных перемещений, новыми транспортными средствами и коммуникативными возможностями, а также характером человеческих занятий.

Как мы уже отмечали, диаспора как жесткий факт и как ситуация и ощущение – это порождение деления мира на государственные образования с охраняемыми границами и фиксируемым членством. Строго говоря, при более или менее нормальной социально-политической ситуации внутри государств нет или не должно быть диаспор из “собственной” культурной среды, ибо государство есть дом, где все граждане равноправны. Диаспора появляется, когда возникает разделенная пограничным паспортным контролем оппозиция “там и здесь”.

В последнее десятилетие (на Западе еще раньше) обнаружались факторы, размывающие привычные представления о диаспоре и на межгосударственном (транснациональном) уровне. Если москвич, формально эмигрировав в Израиль или европейскую страну, сохраняет квартиру в российской столице и ведет основной бизнес на родине, а также поддерживает привычный круг знакомств и связей, то это уже другой эмигрант. Этот человек находится не между двумя странами и двумя культурами (что определяло диаспорное поведение в прошлом), а в двух странах (иногда даже формально с двумя паспортами) и в двух культурах одновременно. Где у него “бывшая родина” и где “новый дом” – такой строгой оппозиции уже не существует.

Не только на Западе, но и в азиатско-тихоокеанском регионе существуют большие группы людей, которые, как они заявляют, “могут жить везде, но только ближе к аэропорту”. Это и бизнесмены, и разного рода профессионалы, и поставщики особых услуг. Дом, семья и работа, а тем более родина для них имеют не только значение разделенных границами мест, но и носят множественный характер. Домов может быть несколько, семья – в разных местах в разное время, а место работы меняться без смены профессии и принадлежности к фирме. Через телевизор, телефон и путешествия они поддерживают культурные и семейно-родственные связи не менее интенсивно, чем живущие в одном месте люди с постоянным автобусным маршрутом дом – работа. Приезжая из Праги или Нью-Йорка в Москву, они видят своих родственников и друзей чаще, чем могут видаться родные братья или сестры, живущие в одном городе. Они участвуют в принятии решений на уровне микрогрупп и влияют на другие важные аспекты жизни сразу двух или нескольких сообществ.

Таким образом, разные и далекие места и находящиеся в них люди начинают формировать единую общность, “благодаря постоянной циркуляции людей, денег, товаров и информации”¹⁸. Эту нарождающуюся категорию человеческих коалиций и форм исторических связей возможно называть *транснациональными*

общностями, на что уже обращают внимание ученые-обществоведы¹⁹.

Уже после того как эта тема была освещена в статейном варианте, вышел номер журнала “Ethnic and Racial Studies”, целиком ей посвященный. В нем содержатся статьи по проблемам транснациональных мигрантских общин на примерах мексиканцев, гватемальцев, сальвадорцев, доминиканцев, гаитийцев, колумбийцев, а также по ряду теоретических вопросов транснационализма²⁰. Некоторые специалисты относят эти новые явления к проблеме транснациональных миграционных циркуляций, но это есть и часть проблемы диаспоры.

Действительно, трудно назвать 1 млн азербайджанцев или 500 тыс. грузин, курсирующих между Россией и Азербайджаном, Россией и Грузией (не беру в расчет старожильческую часть азербайджанцев и грузин в России), диаспорой, однако в их культуре и социальной практике, бесспорно, присутствует диаспорность, особенно среди тех, кто подолгу находится в России. Пересекающие десятки раз в год границы между странами (не только бывшего СССР) люди не могут с обычной легкостью квалифицироваться как эмигранты или иммигранты. Они не попадают в упомянутые выше описания диаспорных ситуаций. И все-таки это новая по своей природе диаспора, которая, возможно, заслуживает нового названия.

В любом случае современные диаспоры или транснациональные общности, как и в прошлом, пребывают в своем главном взаимодействии с государственными образованиями – странами исхода и странами проживания. Этот диалог продолжает носить сложный характер, но в нем есть ряд новых явлений. В большинстве своем члены диаспорных групп оказываются в данном состоянии в результате недобровольных решений и продолжают сталкиваться с проблемой отторжения. С той только разницей, что возможности, которыми располагают эти группы, существенно меняются. Если в прошлом единственной желаемой стратегией была успешная интеграция во втором или в третьем поколении, то ныне ситуация часто складывается по-другому.

Как отмечает Р. Коэн, “чем больше присутствует принуждения, тем меньше вероятность ожидаемой социализации в новом окружении. В этих условиях этнические или транснациональные общности будут упорно сохраняться или преобразовываться, но не растворяться. Сейчас невозможно отрицать, что многие диаспоры хотят иметь свой кусок пирога и хотят его кушать. Они хотят не только безопасности и равных возможностей в странах проживания. Но также и сохранения связей со страной происхождения и своими соплеменниками в других странах... Многие им-

мигранты более не являются разрозненными и послушными людьми, ожидающими гражданства. Вместо этого они могут обладать двойным гражданством, выступать за особые отношения со своими родинами, требовать помощи в обмен на избирательную поддержку, влиять на внешнюю политику и бороться за сохранение семейных иммигрантских квот”²¹.

Современные диаспоры, их ресурсы и организации представляют один из наиболее серьезных исторических вызовов государствам. В странах пребывания они формируют сети международной незаконной торговли наркотиками, создают террористические организации, вовлекаются в другие акции, которые нарушают национальный закон и внутреннюю стабильность. Именно деятельность диаспорных групп (палестинских, кубинских, ирландских, албанских и другие) превратила сегодня такие страны, как США и Германия, в основные территории, откуда исходит международный терроризм. Часто это делается с ведома государств пребывания и откровенно используется ими в геополитических целях.

В более мирных формах активная деятельность диаспор начинает представлять серьезную проблему для местных обществ. Выдвигаются требования и ведется активная борьба за признание обычного права, действующего в рамках традиционной культуры данных групп, законами стран пребывания. Более того, западные либеральные демократии, решившие в свое время в упорной борьбе вопросы отделения церкви и государства, мира частного и мира публичного, сегодня вынуждены иметь дело с попытками привнести в их общества теократические идеи и нормы частной жизни, по которым желают жить представители мусульманских общин, ставшие уже полноправными гражданами этих стран.

Как предупреждает один из авторов, благодаря своему желанию изменить существующие правила, а не принимать сложившиеся правила игры диаспоры будут служить “средством разрушения хрупкого баланса между общей культурой и отдельными различиями”²². Приведу лишь один пример в подтверждение этого опасения. Поведение и конкретные политические результаты российской еврейской диаспоры в Израиле в последние годы поставили под сомнение исторический проект израильской алии и религиозно-этнической основы этого государства.

В то же время некоторые специалисты делают слишком поспешные выводы по поводу исторических перспектив феномена диаспоры. Ссылаясь на то, что идеология национализма не способна сегодня эффективно ограничивать пространство социальной идентичности границами национальных государств, они полагают, что процессы глобализации создают новые возможности

для возрастания роли диаспор во многих сферах и превращения их в особые адаптивные формы социальной организации. Не отрицая последнего, мы, однако, не можем согласиться с выводом, что “в качестве формы социальной организации диаспоры предшествовали национальным государствам, трудно существовали в их рамках и, возможно, сейчас во многих аспектах могут превзойти и прийти им на смену”²³.

Причина нашего несогласия в том, что нынешняя стадия человеческой эволюции продолжает демонстрировать, что государства остаются наиболее мощной формой социальной группировки людей, обеспечивая жизнедеятельность человеческих обществ. Никакой конкурентной формы на горизонте не просматривается. Более того, именно государства используют диаспоры в утилитарных целях, чаще всего для собственного укрепления и разрушения или ослабления других, о чем речь пойдет ниже. И в этом плане диаспоры может ожидать обратная перспектива.

Многие ученые не обращают внимания на то, что современные диаспоры обретают еще один важный аспект. Они утрачивают обязательную ссылку на какую-то определенную локальность – страну исхода – и обретают на уровне самосознания и поведения референтную связь с определенными всемирно-историческими культурными системами и политическими силами. Обязательность “исторической родины” уходит из диаспорного дискурса. Связь выстраивается с такими глобальными метафорами, как “Африка”, “Китай”, “ислам”. Как отмечает в этой связи Джеймс Клиффорд, “этот процесс не столько по поводу быть африканцем или китайцем, сколько по поводу быть американцем или британцем или кем-то еще в месте проживания, но с сохранением отличительности. Это также отражает стремление ощущать глобальную принадлежность. Ислам, подобно иудаизму в преимущественно христианской культуре, может предложить чувство повсеместной принадлежности как в историко-временном, так и пространственном аспектах, принадлежности к разной современности”²⁴.

Следует заметить, что построенная на позитивной сопричастности к мировым культурным системам диаспорность в современных транснациональных контекстах включает в себе порой большую долю утопии и метафоричности, но она уходит от таких традиционных идеологем, как “утрата”, “изгнание”, “маргинальность”, и больше отражает конструктивные жизненные стратегии успешной адаптации и полезного космополитизма. Возможно, эта перспектива глобализации будет означать исторический конец феномена диаспоры, но только наступит этот конец, видимо, нескоро.

УВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОРОЙ

После публикации в журнале “Этнографическое обозрение” своей статьи об историческом феномене диаспоры я не планировал возвращаться к данной теме, хотя комментарии двух моих коллег (С.А. Арутюнова и Ю.И. Семенова), опубликованные в том же номере журнала, меня во многом не удовлетворили. Увлеченные критическим настроем, они явно пропустили то безусловно новое, что содержалось в статье и на что позднее обращали внимание другие комментаторы, а именно – изучаемый феномен не есть статистико-демографические или этнокультурные группы, а прежде всего – конкретные ситуации и стиль поведения части мигрантских и других сообществ или политических сил, действующих от имени данных (не обязательно в их “грубой реальности”) социальных коалиций. Интересующие меня ситуативность и процессуальность в историко-культурном анализе²⁵ были, как мне представляется, с достаточной пользой продемонстрированы и на сюжете диаспоры.

Однако академические дискуссии обычно не заканчиваются одним раундом. Автору часто хочется дать “ответ на ответ” или развить сюжет дальше. Тем более, что в последнее время наметились две тенденции, которые призывают к новому анализу. Одна тенденция – своего рода повальное увлечение диаспорой как научной проблемой, с попытками даже создать “теорию диаспоры”, раскрыть “менталитет диаспоры” с выносом этих претензий на обложки книг²⁶. Некоторые авторы предлагают институционализировать диаспоры наряду с государствами и международными организациями и принять соответствующие федеральные законы²⁷. Российское научное шараханье в диаспору не есть что-то особенное. Недавно появилась статья известного специалиста по данной проблеме израильянина Г. Шеффера²⁸, которая в теоретико-методологическом плане возводит в абсолют все тот же реалистский подход в трактовке диаспоры: она стала “наше все”, включая и будущее мировой политики, а еврейская диаспора за пределами Израиля продолжает быть чем-то архетипическим и необсуждаемым.

Другая тенденция отечественного “диаспороведения” (упаси Боже от запуска в оборот такого термина!) есть общественно-политическая производная от доминирующей теории – это “диаспоризация всей страны”, когда за последние несколько лет в России фактически все группы российского населения нерусского этнического происхождения, проживающие за пределами так называемых своих республик или государств (под “своими” имеется в виду совпадение названия группы и государства: “татары – Татар-

стан”, “армяне – Армения”), вдруг стали называть диаспорами. Вышедшее в свет компаративное исследование правовых аспектов регулирования политики в отношении этнически недоминирующего населения в Венгрии, России и Украине (эта часть населения чаще всего категоризуется как “соотечественники” или “меньшинства”) на наше удивление имеет название “Новые диаспоры”²⁹. Хотя мне лично не следовало бы высказывать удивление, ибо в 1996 г. я также дал название одной из коллективных работ под моей редакцией “Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах”³⁰. Тогда, специально не исследуя вопрос о феномене диаспоры, данное словоупотребление представлялось мне приемлемым и даже привлекательным. Тенденция диаспоризации различных групп населения зашла столь далеко, что новая разделительная линия в российском народе была зафиксирована Министерством юстиции в форме организации “Союз диаспор России”, десяток активистов которой стали одними из приглашаемых партнеров власти в выстраивании общественно-политического диалога с представителями национальных меньшинств.

Благо, не все столь безнадежно. Вышла серия книг по проблемам миграции и мигрантов в странах ближнего зарубежья, где достаточно основательно рассмотрены многие аспекты той самой проблемы, которую другие авторы обозначают как проблема диаспоры³¹. Появилось монографическое исследование о месте и роли диаспор в системе международных отношений³². Статья Н.П. Космарской о политических мифологиях по поводу так называемых русских диаспор³³ мне представляется одной из немногих работ, где преодолевается парадигма группизма, задавившая российское научное и политико-бытовое сознание. В журнале “Диаспоры” опубликован ряд ценных статей по конкретным социально-культурным и языковым ситуациям в сложных постсоветских обществах.

Из работ Й. Шаина, Г. Шеффера и некоторых других публикаций можно вычленить круг проблем и ситуаций, которые очерчивают политико-антропологические аспекты диаспоральной темы. В прошлые десятилетия на эту тему писалось мало, да и сама действительность поставляла для нее гораздо меньше материала. Могу припомнить только приглушенную дискуссию в США 30-летней давности о том, насколько можно доверять выработку американской политики в отношении СССР экспертам и политическим деятелям эмигрантского происхождения (из данного региона). Более простыми словами, насколько немецко-еврейские корни Г. Киссинджера или польско-еврейские корни З. Бжезинского и их семейные истории позволяют им адекватно оценивать

ситуацию и влиять на формирование политики страны в интересах американского народа, а, скажем, не польской общины США, польского государства или вообще в интересах личностного реванша и под воздействием мотивов избавления от травмы?

В СССР о диаспорах в международно-политологическом аспекте фактически не писали, а о некоторых, например, адыгской или черкесской, даже и не знали. Именно конфликты и новый характер миграционных процессов конца XX в. придали данной теме общественную значимость и научную привлекательность³⁴.

Если ориентироваться на традиционную методологию, то центральный аспект темы “диаспора и политика” заключается в формах и степени политического влияния диаспор во внутригосударственных делах и в системе международных отношений. Недавнее исследование Всемирного банка о роли различных интересов во внутренних вооруженных конфликтах привело, в частности, к выводу, что наличие диаспоры является важным фактором, способствующим их возобновлению. Оказывается, после пятилетнего периода замирения риск повторного возгорания конфликта в шесть раз выше в обществах, имеющих обширные диаспоры, чем в тех, которые их не имеют³⁵.

Это не единственное из заключений о значимой роли диаспор в системе современных международных отношений. В научных трудах и в материалах СМИ можно найти немало свидетельств конструктивных и деструктивных действий этого влиятельного актора мировой политики, особенно на примерах армянской, китайской, хорватской, кубинской, индийской, иранской, ирландской, еврейской, палестинской, сикхской и тамильской диаспор³⁶. Ясно одно, что современные диаспоры активно влияют на ситуацию и внешнюю политику стран своего происхождения или исхода (условно назовем их “родными”), а также стран проживания или пребывания (условно назовем их “принимающими”).

Все более признанным становится тезис, что диаспора в том или ином государстве может служить фактором развязывания конфликта и осуществления вмешательства, а также поддержки ирредентизма, т.е. попыток родной страны присоединить или отвоевать территорию, населенную этнически родственными населением. Пример Нагорного Карабаха более чем убедителен для иллюстрации такого случая: армянская диаспора провоцировала и поддерживала движение за передачу Карабаха Армении. В разговоре со мной профессор Калифорнийского университета Ричард Хованнисян во время международного семинара по межэтническим проблемам в Дилижане (Армения) осенью 1987 г. заметил: “...А Вас, оказывается, интересуют проблемы *нашего* Карабаха?” (курсив мой. – В.Т.)³⁷. Аналогичные ситуации описаны и

по другим регионам евразийского и восточноевропейского пространства³⁸.

Диаспоральная деятельность рассматривается также в аспекте вызова существующим государственным институтам, основанным на базовых принципах гражданства и лояльности со стороны тех, кто проживает в очерченном государственными границами пространстве. Диаспоры подвергают эрозии этот давний принцип политического мироустройства, а сами государства с внешними диаспорами (оказывается, бывают и внутренние диаспоры, если следовать рассуждениям российских специалистов и политических активистов) вынуждены менять свои подходы к институту гражданства. Один из примеров прошлых десятилетий – Турция и Югославия, которые существенно скорректировали свои представления о гражданстве и политику в данной области из-за массовой эмиграции и кипрского конфликта. Ситуации после распада СССР (“новые диаспоры” без миграции) также породили такие модернистские явления, как массовое двойное гражданство, наводя ужас на энтузиастов срочного строительства “нормальных национальных государств”. Наконец, диаспоры оказываются связанными с формированием национальных (гражданско-государственных) и этнических идентичностей. Своими претензиями на значимые позиции в государстве, где они не проживают, но которое считают “своим”, диаспоры ставят под вопрос общепринятое понимание государства как полностью суверенного образования.

Недавний пример отечественной практики – публичные заявления одного из лидеров российских армян А. Абрамяна по поводу президентской избирательной кампании в Армении, когда он заявил, что “нам, армянам, не безразлично, как проходят выборы на родине”. Обе официальные стороны (русская и армянская), кажется, восприняли эти слова как вполне обоснованные, хотя сам по себе факт вмешательства гражданина одной страны во внутренние дела другой на основе этнической принадлежности ставит серьезные вопросы перед современной системой межгосударственных отношений. Затем последовали заявления того же российского гражданина по поводу армянского геноцида, касающиеся отношений Армении и Турции и вызвавшие публичный ответ турецкого посла в России; причем сам по себе этот ответ косвенно допускал право на подобное высказывание – россиянину-чувашу или россиянину-буряту такое могло грозить санкцией или демаршем на государственном уровне, а россиянину-армянину как бы оказалось позволительным.

Хотя, по своему изначальному образу, диаспоры есть внетерриториальные образования, они зачастую “мыслят” и действуют территориально, прежде всего в отношении двух государств (род-

ного и принимающего), но далеко не только в отношении последних. В качестве этнических лобби они чаще всего выступают адвокатами соответствующей внутренней и внешней политики стран проживания, обычно в направлении поддержки многокультурности и защиты меньшинств³⁹. Они чаще всего организуют кампании по демократизации режимов в странах исхода. В последнее время это прослеживается и на многочисленных примерах деятельности политической оппозиции ряда республик бывшего СССР. Многие оппозиционные активисты или проигравшие политики Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, спасаясь от своих репрессивных режимов, вынуждены находиться в России и с ее территории высказываться, призывать к действиям и т.д. В России происходит смыкание двух диаспоральных систем (русские там и местные здесь: те и другие диаспоры). Выступления против И. Каримова и С. Ниязова проживающих в России узбеков и туркмен – только немногие из примеров такой деятельности.

Похожую ситуацию можно наблюдать и в других регионах мира⁴⁰. Самые известные в истории случаи – это так называемые правительства в изгнании. Их история насчитывает века, но в последние десятилетия появились многочисленные “комитеты” и “представительства” – удобные лейблы для эмиграции и диаспоральной деятельности. К ним можно отнести, например, действующие в США, Франции, Германии, Великобритании, Польше разного рода “чеченские комитеты”, которые становятся единственными зацепками для пребывания в этих странах эмигрировавших чеченцев-россиян.

Диаспоры, как правило, располагают большой экономической мощью (строго говоря, только после этого и начинается диаспора как форма деятельности), что помогает им влиять на экономику и политику родных стран. Чаще всего речь идет о позитивном воздействии, способствующем развитию. В последние годы появились серьезные исследования по денежным потокам, которые диаспоры направляют в страны исхода, главным образом для поддержки семей и родственников, а также для развития собственного и другого бизнеса⁴¹. Примеры аналогичной деятельности по бывшему СССР впечатляющие, хотя серьезных работ эту на тему недостаточно. Но и здесь почти всегда доминирует идея пользы для родины и “утечки”, “вывоза” средств из страны пребывания. Чрезвычайно мало работ и конструктивной публицистики о том, какую огромную пользу развитию экономики стран проживания принесли и приносят диаспоральные сообщества⁴².

Если говорить о формировании гражданской и культурной идентификации в рамках того или иного государства, диаспоры

играют еще одну существенную роль – они выступают транснациональными передатчиками и пропагандистами соответствующих культур. Это обстоятельство было хорошо освещено в ряде исследований западных антропологов, которые в последнее время уделяли особое внимание культурным взаимодействиям, а также транснационализму в культуре⁴³.

Однако важен следующий момент: трансляция культуры через диаспоры происходит в том ее виде, как она существует прежде всего в диаспоре и как ее члены сами себе представляют эту миссию (укреплять, развивать или изменять существующие культурные системы и культурные политики). Так, например, в СССР давно существовала во многом другая культура и даже другой русский язык, а зарубежная русская эмиграция сохраняла и представляла именно ту культуру родной страны, из которой она выехала во время революции и гражданской войны. На Кубе за годы правления Ф. Кастро сложился другой строй и новая “социалистическая культура”, которую жестко отвергает кубинская эмиграция в США, предъявляя американцам и самим себе “докommунистическую”, а по сути полукониальную и сильно американизированную культуру, существовавшую при Батисте, а затем перекочевавшую во Флориду и другие средоточия кубинской эмиграции.

В более общем плане диаспоры все больше способствуют развитию транснациональных связей; они действуют в качестве моста и медиатора между своим “домом” и принимающим обществом. Они передают опыт плюралистической демократии, которой часто не достает в странах исхода. Они несут опыт предпринимательской деятельности, часто возвращаясь с ним на родину, пусть даже с гражданством США или Канады. Сегодня представители тех, кого называют в стране временного проживания “диаспорой” или просто “советскими”, приезжают обратно, чтобы занять свое место в числе российских топ-менеджеров⁴⁴.

Обозначив некоторые из проблем, попробуем сделать шаг в сторону социально-антропологического анализа *политики диаспоры*, т.е. как диаспора становится диаспорой через политическое действие.

ДИАСПОРЫ КАК ИСТОЧНИК НЕСТАБИЛЬНОСТИ И НАСИЛИЯ

До появления современного глобального терроризма по данной теме было мало исследований⁴⁵. Рассматривать диаспоры как деструктивную силу зачастую считается политически некоррект-

ным – это истолковывается либо как выпад против меньшинств, либо как проявление антирелигиозных и других коллективистских фобий (например, антиисламской или антиармянской). Написать о деструктивности еврейской диаспоры почти наверняка означает получить обвинение в антисемитизме. Одна из моих американских коллег неожиданно для меня заметила, что в моих словах она встречала антисемитские нотки. Оказалось, что она хорошо запомнила фразу почти 15-летней давности, когда в нашем разговоре я сказал, что новейшая эмиграция из СССР (время позднего Брежнева и раннего Горбачева) связана с вывозом большого числа православных икон за границу, а основную массу эмигрантов составляют уезжающие в США и Израиль евреи, нанося тем самым урон русской культуре.

Примерно десять лет тому назад приблизительно такую же реакцию я почувствовал, когда высказал мысль, что идея алии может потерпеть историческое поражение под воздействием русской (советской) диаспоры в Израиле, каковой я считаю приехавших туда советских (российских) евреев. Ныне же не только израильтяне, но и сами русские евреи считают себя диаспорой в этой стране – вопреки теории и пропаганде по поводу того, что и когда есть диаспора. Приведу один неожиданный для ортодоксальных теоретиков диаспоры пример. М. Галесник – главный редактор израильского русскоязычного интернет-журнала “Безэдер” так ответил на вопрос журналиста о проводимых его издательством книжных ярмарках “Неделя русской книги”: “Книжные ярмарки – единственная возможность существования для издателя или автора, выпускающего в диаспоре (!) книги на некоренном языке. Русские книжные магазины (а их в Израиле около трехсот) завалены книгами из России. Их закупают по оптовым ценам и привозят контейнерами, конкурировать с этим невозможно”⁴⁶. Так где же российские евреи являются или ощущают себя диаспорой: в России или в Израиле, или и там, и там – в зависимости от ситуации и выбранной позиции?

Однако вернемся к вопросу о диаспоре как негативной (деструктивной) силе в отношении государств исхода (или именуемых таковыми людьми, действующими в диаспоральном контексте). Роль диаспор как “спойлеров” (от английского глагола *to spoil* – портить) в ходе конфликтов или их урегулирования изучалась на американских материалах⁴⁷. В отношении же постсоветского пространства вопрос этот остается недостаточно раскрытым. Будем исходить из того, что между странами существуют трения и возникают конфликты: такова природа государств и динамика международных отношений. В этой ситуации диаспоры почти автоматически поддерживают “свои” государства в их соперничестве

ве с соседями, если сами эти диаспоры не проживают в последних. Российские азербайджанцы выступают на стороне Азербайджана в конфликте с Арменией, российские армяне – на стороне Армении в конфликте с Турцией, и так фактически по всему миру. Точно также диаспоры поддерживают борьбу соплеменных общин за обретение независимости (в странах исхода и в других государствах), т.е. всегда настроены просепаратистски в пользу соплеменников. Так, например, зарубежными черкесами априорно приветствуется сепаратизм среди северокавказских народов. Предостережения А. Авторханова в адрес чеченцев о необходимости держаться вместе с Россией совсем не означали осуждение сепаратизма, а только направляли его в не столь вызывающее русло⁴⁸.

Аналогичны ситуации и по другим регионам мира⁴⁹. Сейчас достаточно сложно представить себе, что в начале 1990-х годов московские армяне могли выступить против карабахского сепаратизма или американские евреи – против оккупации и заселения палестинских территорий. Но тогда почему оказалась возможной такая позиция сегодня? Значит, не все предопределено самим характером и позицией диаспоры; значит, есть и другие факторы. Таким не менее мощным фактором является позиция доминирующего общества и политических кругов в стране проживания, а тем более в стране исхода. Тезис о диаспоре как о безусловной пятой колонне оказывается уязвимым.

Опыт показывает, что на диаспору можно и следует воздействовать. Если напомнить и объяснить россиянам грузинского происхождения, что защита от террористов из Панкисского ущелья должна заботить их больше, чем осуществление Грузией права на предоставление убежища воюющим чеченцам или даже беженцам, тогда, вполне вероятно, позиция грузинской общины в России могла бы быть выражена более определенно. Насколько мне известно, руководство федеральной грузинской национально-культурной автономии занимало по этому вопросу (а также и по другим вопросам) скорее прогрузинскую, чем пророссийскую позицию.

Если бы общество и власти попытались объяснить российским евреям, прежде всего активистам и лидерам, когда-то борвшимся за поправку Джексона–Вэника, что сейчас она абсурдна и наносит вред их собственной стране, тогда мнение еврейской общины России, став известным американскому конгрессу, могло бы сыграть решающую роль в решении трудной политической проблемы двумя президентами. Тем самым я хочу сказать, что лидеры российских евреев не есть противники России по определению, но нет внятного запроса на их позицию, а их собст-

венная гражданская ответственность недостаточна (это же касается и большинства россиян, а не только евреев). Сложившаяся ситуация, несомненно, ослабляет их патриотизм по отношению к *родной стране проживания* (вот такой возможен симбиоз!).

Некоторые специалисты отмечают ключевую роль диаспор в нацистроительстве и в государственной консолидации, ибо их голосом мировое сообщество как бы извещается о рождении или наличии того или иного государственного образования. Этим рупором довольно часто пользуются и национальные лидеры для утверждения своих позиций в мировом политическом сообществе, особенно в ситуации образования новых государств⁵⁰. Диаспоры расширяют и углубляют конфликт тем, что экспортируют местную борьбу и ее версию в страны пребывания и на мировую арену. Мною лично наблюдались тамильские демонстрации проживающих в Осло политических мигрантов (беженцев) из Шри Ланки с полной уличной сценографией как их соплеменники страдают и гибнут на родине. Фактически это было послание норвежским властям о сохранении и продлении статуса их пребывания в этой стране. Диаспоры используют “домашний” конфликт для построения криминальных сетей и террористических организаций, превращая конфликт в свою исключительную ответственность⁵¹. Конфликт в Косово с албанской стороны был в значительной степени узурпирован албанской диаспорой в США и Европе и тех, кто поддерживал расчленение уже новой Югославии.

В достаточно несовершенном мире, состоящем из национальных государств, диаспоры добиваются внимания и даже признания со стороны политиков и международных организаций фактически повсеместно. Именно по этой причине исследователи все активнее пытаются встроить изучение данной проблематики в науку о международных отношениях и даже выработать некоторые общетеоретические подходы – своего рода теории диаспоры в системе международных исследований. Мы полагаем, что проблема диаспоры лучше всего осмысливается в теоретической парадигме социального конструктивизма и исследований по проблематике идентичности. В этом наше главное расхождение с позицией Г. Шеффера, для которого диаспоры – это всегда, везде и очень надолго.

Рассмотрим некоторые сюжеты, связанные с диаспоральными идентификациями. Своего рода надгосударственное местоположение диаспор дает им возможность манипулировать мировым общественным мнением и таким образом привлекать внимание к проблеме группы с родственной идентичностью. Тем самым оказывается воздействие на тех, кто принимает решения по вопро-

сам международных отношений. Это делается практически само по себе, ибо понимается, что у диаспор как бы есть право вовлекаться во внутреннюю политику “своих” стран и оказывать влияние по всем направлениям, и “дома”, и в стране проживания. Однако именно конструктивизм обращает внимание на идентичность, мотивы и интересы акторов в системе человеческих и общественных отношений, и именно здесь необходима деконструкция как самой метакатегории, так и того, что за ней стоит. Онтологический подход “всегда диаспора”, а тем более в его крайне расширительном смысле “этнонациональных диаспор”, куда попадают даже афроамериканцы (как у Г. Шеффера), которые на самом деле более, чем кто-либо являются именно американцами и больше никем, мне видится крайне уязвимым.

Мои представления о диаспоре настолько расходятся с позицией Г. Шеффера и многих авторов российского журнала “Диаспоры”, что для иллюстрации степени этого расхождения я приведу только один пример: для меня российские немцы являются диаспорой России (в широком смысле слова, включая пространство бывшего СССР) в Германии, а не наоборот. Точно так же, как я уже отмечал, гораздо больше диаспоральности среди российских евреев в Израиле, чем среди евреев в России. Кстати, подтверждение этого тезиса мною было обнаружено в статье Ендре Шика о понятии “диаспора” на венгерских материалах. Его вывод представляется важным: венгры Карпатского бассейна, проживающие в румынской Трансильвании и в западной Украине, не считают себя диаспорой и не ведут себя как диаспора, а вот венгры, переселившиеся в Венгрию из Трансильвании, скорее ощущают себя чужаками и воспринимаются основным населением как диаспора. Но в любом случае, самым корректным было бы считать диаспорой венгров, выехавших в разные страны мира из региона исторического проживания, а не тех, кто живет на своих землях веками⁵².

ДИАСПОРАЛЬНЫЕ РОЛИ

Й. Шаин определяет диаспору как людей с общим происхождением, которые проживают более или менее на постоянной основе за пределами своих этно-религиозных родин (отечеств), будь они реальными или символическими, независимыми образованиями или находящимися под иностранным контролем. Члены диаспоры идентифицируют себя и(или) идентифицируются другими внутри и вне их родин как часть соответствующей национальной общности и в качестве таковой призваны участвовать в

делах, имеющих отношение к данной общности⁵³. При этом сами понятия *родины* и *страны проживания* являются операциональными чисто в теоретическом плане и четкой дефиниции не подвержены, на что мною было указано выше.

Само понятие “диаспора” почти всегда имеет расширительный смысл, ибо подавляющая часть ее членов таковыми себя не ощущают и их идентичность связана с другими социальными коалициями – прежде всего с государством проживания и с гражданской принадлежностью. Как показывают исследования российских этносоциологов, подавляющее большинство российских армян не считают себя диаспорой и тем более не ведут себя как диаспора, иногда даже осуждая диаспоральную деятельность и призывы в ней участвовать⁵⁴. Некоторая часть этой пассивной или молчаливой “диаспоры” может быть мобилизована активистами в той или иной ситуации, но не более.

Диаспора – это прежде всего активисты (лидеры) и их соучастники. В таком случае диаспора – преимущественно “воображаемая общность”, используя выражение Б. Андерсона, часто существующая только в головах ее лидеров и активистов, а также в представлениях политиков и правительств. “Реальность” диаспоры зависит от демографических параметров, наличия организации и возможности поддерживать хотя бы среди части соплеменников диаспоральную идентичность. В любом случае речь идет о крайне подвижном состоянии: сегодняшняя диаспора завтра становится ничем, а некогда молчаливая часть населения может оказаться подверженной быстрой мобилизации. Почему это происходит?

Д. Исмэн описал семь типов диаспорной деятельности⁵⁵, на основе которых Й. Шаин выделил два основных – активный и пассивный, которые, в свою очередь, создают три ролевых ситуации на международной арене.

Первая – диаспоры как пассивные акторы. Имеется в виду вовлечение диаспор в международные отношения, но не в результате собственной деятельности. Это может произойти по трем разным причинам. Во-первых, когда диаспора нуждается в помощи из-за проблем, возникших в стране пребывания (пример – содействие среднеазиатским евреям в эмиграции в период обострения ситуации в странах региона). Во-вторых, когда “родина” стремится представлять “своих людей” (соотечественников), проживающих за ее пределами, независимо от того, желают они того или нет (пример – частые заявления и действия России в лице государственных деятелей и общественно-политических сил о положении и защите соотечественников за рубежом, прежде всего в странах бывшего СССР). В-третьих, когда диаспора становится

пассивной целью или объектом тех или иных действий со стороны “родины” или других акторов (пример – палестинская организация “Хэзболла” может осуществлять насильственные акции против еврейских общин в других странах мира, когда сам конфликт происходит в ближневосточном регионе). Во всех перечисленных случаях диаспоры выступают как пассивные акторы, а активные – это “родные” страны или другие государства.

Вторая ролевая ситуация – диаспоры в качестве активных акторов, оказывающих воздействие на внешнюю политику принимающих государств. В странах с демократическими режимами диаспоры создают группы интересов для влияния на их политику в отношении своих “родин”. Лучше всего это видно на примере США, где власть различных этнических лобби действительно приводит к весьма ощутимым переменам во внешней политике⁵⁶. Данный фактор настолько серьезен, что некоторые специалисты предупреждают об ущербе общенациональным целям и интересам, который наносят ангажированные позиции таких лобби⁵⁷. Один из примеров – проведение через конгресс США армянским лобби антиазербайджанской резолюции или противодействие еврейской общины отмене поправки Джексона–Вэника в отношении России.

Тем не менее некоторые американские специалисты считают, что этнические лобби отражают плюралистический характер американского общества и благоприятным образом корректируют действия традиционной политической элиты⁵⁸. Однако в других странах подобные воздействия стараются сводить к минимуму и не допускать этнические (мигрантские) лобби к центрам принятия внешнеполитических решений. Это, в частности, касается Франции, Германии и Англии, хотя в этих странах диаспорные сообщества не только имеются, но и хорошо организованы.

Третья ролевая ситуация – диаспоры в качестве активных акторов, влияющих на страны исхода. Достигшие экономической и политической власти диаспоры способны и действительно эффективно воздействуют на внешнюю политику родных стран. Самая мягкая форма вовлеченности – прямое участие во внешнеполитической деятельности в качестве советников, высших чиновников, включая должности министров иностранных дел. Как известно, это имело место в странах Балтии и Закавказья, озабоченных скорейшим дистанцированием от России и получением международного признания. Следует признать, что в ряде случаев подобное привлечение членов диаспоры себя оправдало: лица эмигрантского происхождения и граждане других стран заняли и продолжают занимать самые высокие посты в странах Балтии.

Но самая жесткая ситуация имеет место, когда диаспоры поставляют рекрутов, финансы и(или) оружие для насильственных действий от имени “родного” государства и решительным образом воздействуют на ход того или иного конфликта, в который оно вовлечено. Примеров огромное число, но приведу только два: тамильская диаспора вкупе с тамильским населением Индии является основным поставщиком средств, оружия и солдат для ведения войны против центрального правительства Шри Ланки. Американские ирландцы на протяжении почти 150 лет поддерживают Ирландскую революционную армию в Северной Ирландии, что не позволяют достичь мира в этой части Великобритании.

Диаспоры могут осуществлять прямое воздействие через созданные в странах исхода политические организации, которые открыто или косвенно связаны с диаспорой и ею финансируются. Именно таковой является “Дашнакцутюн” в Армении и некоторые тайваньские партии. Диаспоральные партии имеют разную степень успеха и влияния. Так, например, почти все так называемые русские партии в странах бывшего СССР очень слабы; на последних выборах в Эстонии они вообще потерпели полный провал среди своих же избирателей. Но в ряде стран такие партии оказывают существенное влияние на результаты выборов⁵⁹. Интересным и подтверждающим мои наблюдения феноменом являются “русские” партии в Израиле. По своему смыслу и деятельности это, бесспорно, партии диаспорального типа, пользующиеся большим влиянием, как и вышеупомянутые аналогичные организации в Армении и на Тайване.

В своих работах Й. Шаин рассматривает влияние диаспор на внешнюю политику “родных” государств. Его наблюдения заслуживают внимания. Какого рода интересы преследуют диаспоры? По мнению Й. Шаина, эти интересы или мотивы можно разделить на два типа: мотивы по поводу “там” (страна исхода) и мотивы по поводу “здесь” (страна проживания). Диаспора рассматривает внешнюю политику родной страны как оказывающую влияние на интересы всего “народа” (т.е. всех этнически или религиозно родственных сообществ независимо от места проживания). Одним из примеров такой ситуации была озабоченность положением евреев в СССР, лишенных права на эмиграцию и воссоединение семей. Отсюда рождалась политика (особенно с начала 1970-х годов) воздействия на позицию СССР, касающуюся предоставления евреям права на эмиграцию.

Одним из мотивов может быть претензия на сохранение памяти и(или) культурной чистоты нации. Так, например, американские армяне представляют собой часть мирового армянства,

наиболее озабоченную сохранением памяти о геноциде начала XX в. Как только президент Армении Л. Тер-Петросян выразил некоторые сомнения по поводу геноцида как основы армянской идентичности и заявил о необходимости совершить поворот в сторону улучшения отношений с Турцией, именно американская диаспора подвергла жесткой критике этот новый взгляд на политику армянской нации, добившись в конечном итоге ухода Л. Тер-Петросяна со своего поста. Новый президент Р. Кочарян сразу же поставил все на прежние места, к полному удовлетворению богатых ключников мирового армянства. Американский историк Р. Суни отмечает:

“...почти мгновенно новое правительство вернулось к более традиционному варианту национализма, который более приемлем для диаспоры... Был снова выдвинут вопрос о геноциде – постоянный источник эмоций для армян и основной разделитель между Арменией и Турцией. В итоге рискованная попытка переориентировать национальный дискурс потерпела поражение перед лицом непреодолимых внутренних и внешних факторов... Мощь и гомогенность армянской национальной идентичности, широко распространившиеся проекции образа геноцида на Карабахский конфликт и неприемлемость поворота в сторону Турции – все это способствовало падению некогда популярного национального лидера, чей шаг за пределы выбора армянской идентичности и национального дискурса не принес ожидаемого политического вознаграждения”⁶⁰.

Фактически армянская диаспора в США и Франции оказалась сильнее слабого армянского государства, когда встал вопрос о его внешнеполитическом курсе и стратегии развития национальной идентичности. Однажды мне пришлось беседовать с советником Л. Тер-Петросяна по внешней политике Дж. Либаридяном (зарубежным армянином, находящимся на госслужбе Армении), который признал, что именно политизация диаспорой проблемы геноцида закрыла возможности нового курса для Армении и вместе с этим – поиск выхода из карабахского конфликта⁶¹.

“РОДИНА” КАК ИДЕНТИЧНОСТЬ

Из всего перечня причин, вызывающих беспокойство диаспоры по поводу судьбы “всех” из-за ситуации “там”, наибольший интерес представляет мотив, связанный с воспроизводством и поддержанием идентичности. Ясно, что для современного армянства важно, что есть такая страна – Армения, хотя еще полвека тому назад зарубежные дашнаки не признавали это образование и строили политическую стратегию на другой идее. Впрочем, подобная ситуация не является обязательной (Курдистана нет, но

курды как диаспоральный народ существуют и будут существовать), однако тут важна вера в то, что страна является колыбелью общенациональной идентичности. Как отмечают некоторые авторы, идентичность не всегда определяет интересы, иногда она и есть сам этот интерес⁶². “Хочу быть (чувствовать себя, оставаться и т.п.) армянином, и потому мне нужна Армения” – так можно изложить армянскую версию подобного интереса.

Аналогичный момент был мною отмечен при разговоре с председателем Конфедерации еврейских общин России М.А. Членовым в 1992 г., когда в должности министра по делам национальностей я предложил одному из лидеров российских евреев подумать о возможности упразднения Еврейской автономной области как административной фикции советской поры. Одним из аргументов в пользу сохранения стал сам факт обозначения российского еврейства на карте России, и это, видимо, помогало сохранять идентичность. М.А. Членов не выразился столь эксплицитно, хотя и являлся моим коллегой по своей основной профессии, но суть его рассуждений была именно таковой. Правда, вопрос о Биробиджане, строго говоря, к разбираемому случаю не подходит. Однако имеется много ситуаций, когда для *диаспор важно осуществлять через “свои” страны первичную операцию воспроизводства идентичности в ее этнически родственном варианте.*

Иногда я задаю себе вопрос, в каком варианте политики идентичности более заинтересована часто называемая диаспорой русская часть населения Украины, Латвии или Казахстана: в формировании сложной идентичности на основе российскости или в утверждении представления о России как о русском государстве? Ответ зависит от того, что есть “русская диаспора” по своему статусу и по составу в той или иной стране бывшего СССР и какую собственную идентификационную стратегию она (диаспора) выбирает. Наиболее обстоятельно этот вопрос рассмотрен в книге американского социолингвиста и политолога Д. Лейтина на примере Эстонии, Латвии, Украины и Казахстана⁶³. Интерес представляют не только его выводы, но и проблема базовой категоризации предмета исследования. Д. Лейтин пишет:

«Я использую термин “диаспора” по отношению к русскому населению стран бывшего Советского Союза, хотя оно обрело этот статус скорее в результате уменьшения границ Советского Союза, чем в результате расселения за пределы своей родины, и поэтому лучше назвать его “выброшенной на берег” или “десантированной диаспорой” (*beached diaspora*). И все же нам не следует забывать, что эти русские пребывают не только под прессом ассимиляции, но также и перед необходимостью консолидироваться как часть группы с конгломератной идентичностью. Называя их диаспорой,

возникает соблазн забыть о социальном давлении в сторону ассимиляции. Если принять “конгломератный” вариант, их место, видимо, будет рядом с жителями США латиноамериканского или азиатского происхождения, и тогда понять особенности их нынешнего положения можно будет с помощью литературы по проблемам формирования реактивной идентичности. Подобные именованья неизбежно становятся категорией анализа. Преимущество предлагаемой мною модели (*tipping model*)⁶⁴ заключается в том, что она позволяет анализировать идентичность русских без определения само-го типа группы, к которой они стали принадлежать»⁶⁵.

Далее Д. Лейтин уже не употребляет слово “диаспора” применительно к русскоязычному населению, именно по причине слабости и перегруженности самого термина, в чем я с ним полностью согласен. Однако этого нельзя сказать о некоторых выводах, касающихся перспектив и стратегий постсоветских русских диаспор и предпочтительного для них варианта российской политики (Лейтин пишет о перспективе ассимиляции русскоязычных и об отказе России от политики поддержки соотечественников).

В Эстонии и Латвии, как в более состоявшихся обществах с точки зрения гражданско-политических основ (хотя и не без политического и националистического иезуитства), похоже, общегражданские принципы рано или поздно возьмут верх. Эстонская или латвийская нации будут пониматься как многоэтничные образования, а не только состоящие из людей, говорящих на эстонском языке и с эстонскими фамилиями. Это означает, что для местных “некоренных” (прежде всего русских, украинцев, белорусов) будут более понятны и приемлемы понятия эстонскости и латвийскости, а свою собственную этническую идентификацию они могут строить действительно на “конгломератной” основе – например, балто-славянскости. Отсюда и их заинтересованность в том, чтобы и в России утверждались во внутренней и внешней политике принципы на основе понимания национального как этнически сложного, т.е. российскости.

На Украине и в Казахстане, где этнонационализм только крепчает и где подавляющее большинство членов условно называемой российской диаспоры – этнические русские, чисто русский вариант может оказаться более предпочтительным. Точнее, для них это единственный выбор перед лицом неослабевающих украинского и казахского этнонационализмов. Если русских в этих двух государствах в члены нации никогда не включают, то их стратегия идентичности также связана с этничностью. Русских, живущих на Украине не беспокоит самочувствие венгров или поляков в стране проживания или чувства и интересы татар и чувашей в России. Их волнует сохранение собственной русской идентичности через политику русскости в России. Если в России будут

больше говорить о российском народе или нации, то статус и значимость русскости вообще тем самым как бы снижается не только в России, но и на Украине и в Казахстане. Эти тонкости идентификационных стратегий специалисты редко замечают, а сами участники *диаспоры* (неожиданно родившееся интересное определение!) их могут даже и не замечать, а строить свое поведение на интуитивной основе.

Если вернуться к обеспокоенности диаспор ситуаций “там”, то они могут проявлять сильную заинтересованность в том, чтобы внешняя политика родного государства благоприятно влияла на его будущее. Диаспорам небезразлично, укрепляется ли безопасность и благополучие их родины или, наоборот, на нее оказывается разрушительное воздействие. Это важно для диаспор, ибо во многих случаях сохраняется расчет на возможность возвращения, если условия в стране пребывания будут ухудшаться, а в стране исхода – улучшаться. И даже безотносительно возможного переезда присутствует осязаемый символический интерес – лучше иметь в качестве родины благополучную страну с позитивным имиджем, чтобы через него поддерживать и отстаивать собственную идентичность перед вызовами ассимиляции принимающего общества⁶⁶. “Да, мы из России только и можем делать здесь настоящую математику, а все американцы – это же тупицы!”, – говорили мне русско-еврейско-армянские мальчики, работающие в Силиконовой долине. “Если на улице в руках у ребенка футляр со скрипкой – значит, он из наших, советских”, – услышал я в Иерусалиме от эмигрировавшей в Израиль сотрудницы моего института. И это ли не диаспоральный стиль поведения в отношении родной страны (или страны исхода)? Причем здесь библейский исход евреев или вывоз африканских рабов в Америку, чтобы вопреки современным дискурсивным практикам считать евреев в России или афроамериканцев в США диаспорой? Здесь опять прослеживается радикальное расхождение с Г. Шеффером и другими традиционалистами от диаспор.

Мною неоднократно отмечались ситуации, когда неблагоприятный имидж России снижал стремление российских эмигрантов заявлять о себе как о “русских” в странах пребывания. Естественно, такое внешнее отрицание ведет и к внутренней коллизии по поводу идентичности: стоит ли пестовать в себе то, чем трудно гордиться открыто, что не помогает, а, наоборот, мешает? По этим мотивам диаспора может пытаться изменить политику “родных” стран к пользе, как им представляется, для последних и для себя тоже. Работа на благополучие и на позитивный имидж “родного” государства – наиболее распространенный и,

казалось бы, вполне естественный стиль поведения диаспоры. Но далеко не всегда так получается в жизни.

В случае с Россией поражает феномен достаточно скептического или даже отрицательного отношения к родине многих людей, выехавших из страны в разное время и на разной основе. Если речь идет о политических миграциях времен революции и гражданской войны, периода сталинских репрессий или брежневских гонений диссидентов, то здесь можно найти оправдание в пережитой травме и в несогласии с режимом и его политикой. Но почему негативно-скептическое отношение сохраняется и когда нет репрессий, когда имеет место добровольный выезд и страна исхода сделала очень много для выехавшего (дала образование, стартовый капитал, богатую историю, культуру и язык)?

На наш взгляд, здесь имеет место воздействие общественной среды и политики принимающих государств. Имидж России и русских (как собирательный образ россиян) остается низким и намеренно таковым сохраняется (не без помощи отечественных экспертизы, СМИ и политиков). Сохраняется отчасти по инерции холодной войны, отчасти из-за неизжитой потребности иметь большого врага и угрозу как средство консолидации собственных обществ. Россия выполняет для многих стран роль такой большой внешней угрозы или же эта возможность держится про запас, даже при личной дружбе президентов. Диаспора реагирует на эту ситуацию и выбирает вариант негатива, а не позитива в отношении к России. Иногда от этого проигрывает, но чаще выигрывает, ибо в стране пребывания такая позиция поощряется работой, грантами и сочувствием, а в стране исхода не наказывается. Человек может “поливать” Россию открыто или трудиться на академической, радиовещательной и прочих нивах по развенчанию России, но, возвратившись, встретить вполне хороший прием и даже стать героем. Ибо отрицание России в моде и в самой России, но это уже сюжет для другой работы.

Фактор влияния общественной среды и доступных источников информации может быть гораздо ощутимее для позиции диаспорального сообщества по вопросам мировой политики, чем мы полагаем, и в любом случае эта позиция не всегда совпадает с позицией “родины”. Этот вопрос можно было проверить на реакции “русских американцев” на войну в Ираке.. По свидетельству русскоязычного писателя из Нью-Йорка Гарри Каролинского (Табачника), «многие из эмигрантов, которые не знают английского языка, черпали информацию из тех же источников, что и россияне (они “приклеены” к российским телеканалам) и видят войну как ее изображают в России. Другая, знающая английский язык часть диаспоры, попадает по воздействию не менее тенден-

ционой американской пропаганды. Но большинство, безусловно, поддержало действия американских лидеров»⁶⁷.

Еще одна ситуация – когда диаспоры рассматривают внешнюю политику “родной” страны как затрагивающую интересы определенной этнической общности. Эти интересы могут быть экзистенциального характера, а могут иметь сугубо материальное выражение. К первому относится борьба за выживание группы, озабоченность ее безопасностью, имиджем и статусом, а также проблема восприятия членами диаспоры самих себя в стране пребывания. В подобных случаях диаспорные активисты пытаются воздействовать на политику родной страны в собственных целях или в целях общества, в котором они проживают. Когда США возглавили мировую кампанию бойкота ЮАР, то американские евреи оказывали сильное давление на Израиль, чтобы он свернул отношения с южноафриканским режимом апартеида. Активисты курдской диаспоры в России всячески пытаются осложнить отношения России с Турцией и вынудить страну проживания занять позицию поддержки курдского национального движения, вплоть до создания независимого Курдистана.

Наконец, диаспоры могут рассматривать внешнюю политику “родной” страны как ущемляющую интересы диаспорных организаций, особенно бюрократий, которые складываются вокруг отношений с родиной. Так, например, стремление Израиля покончить с арабо-израильским конфликтом и реальное продвижение в этом направлении могут означать радикальное снижение политического веса и источников финансирования для ряда еврейских организаций в США. В целом все эти мотивы зиждутся на одной основополагающей посылке – наличии общей идентичности членов диаспоры и населения “родной” страны. Но так ли это и нет ли здесь дополнительных ловушек и этнографических тонкостей, если заглянуть за метатеорию?

Вслед за некоторыми другими авторами мы предлагаем найти место для политического смысла диаспор в пространстве теорий конструктивизма и либерализма. Оба подхода в теории международных отношений перекликаются между собой. Либеральный подход исходит из того, что существует некая идеальная основа государства и основанные на идентичности преференции в политике данного государства, а также из того, что данный институт – это не только политическая власть, но и власть различных сегментов общества, включая культурные отличительные группы. Конструктивистский подход предполагает, что идентичности, а вслед за ними и интересы, определяются социальным взаимодействием, в которых участвуют внешние и внутренние политические акторы. Конструктивизм и либерализм как теоре-

тические конструкты признают примат и приоритеты государств в политике и в то же время воспринимают государства в более широком социальном контексте, а также признают роль широкого спектра негосударственных акторов⁶⁸.

Исходя из этого, диаспоры можно рассматривать как *основанные на идентичности групповые коалиции, которые, являясь частью более широкого международного сообщества, имеют негосударственный характер, но осуществляют свое влияние на политику страны исхода, проживания и других стран*. Можно ли воспринимать роль этих акторов мировой политики вне динамики самой идентичности? Как уже говорилось в начале главы, диаспора – прежде всего ситуация, отличающая в стилевом (поведенческом) отношении подвижные человеческие коалиции, и только через дискурсивную практику происходит своего рода конституирование диаспоры как группы, отличающей ее от схожих сообществ и образований типа мигрантов, беженцев, гастарбайтеров и даже этнических сообществ, которым также свойственна идентификационная подвижность.

Многие специалисты, включая главного редактора и основателя американского журнала “Diaspora” Х. Гололяна и уже упоминавшегося Д. Лейтина, признали, что попытки выделить “диаспоры” из подобных сообществ в качестве особой групповой категории оказываются тщетными⁶⁹. Определение диаспоры, данное У. Сэфраном⁷⁰ более десяти лет тому назад, на начальном этапе современных диаспоральных исследований, сегодня представляется недостаточным. Неудачна, на наш взгляд, и попытка Г. Шеффера дать вместо “компактного элегантного определения более развернутое всеобъемлющее описание, основанное на обобщении множества работ о различных диаспорах”, ибо полторастраничное описание “этнонациональной диаспоры”⁷¹ по своей базовой методологии мало чем отличается от самого “элегантного” определения диаспоры, данного У. Коннором (“часть народа, живущая за пределами родины”) и воспроизводимого в разных вариациях в международных и отечественных справочных изданиях.

В действительности мы имеем дело прежде всего с формой дискурсивной практики, которая обрела огромное политическое, эмоциональное и даже академическое значение в рамках эссенциалистских, реалистских научных парадигм и низовых восприятий. Наука может работать с любыми категориями, в том числе и с категорией “диаспора”, если имеется определенный консенсус по поводу ее содержания и пределов применимости. А вот государство, если определять его население как состоящее из русских и диаспор или из казахов и диаспор, – такое государство существ-

воват не может. *Навязанная диаспоризация в неоправданной степени захватила население бывшего СССР, и диаспоральный дискурс стал изоциренной формой разделения и отчуждения в политических целях существующих гражданских сообществ, социальная и культурная общность которых, а также единство интересов выше, чем часто гипотетические мощь и влияние диаспор.*

- ¹ *Милитарев А.* О содержании термина “диаспора”: (К разработке дифиниции) // *Диаспора.* 1999. № 12. С. 24.
- ² См., например: *Советский энциклопедический словарь.* М., 1987. С. 389.
- ³ См., например, определение в статье на эту тему: “Диаспора – это устойчивая совокупность людей единого этнического происхождения, живущая за пределами своей исторической родины (вне ареала расселения своего народа) и имеющая социальные институты для развития и функционирования данной общности” (*Тощенко Ш.Т., Чаптыкова Т.И.* Диаспора как объект социологического исследования // *Социос.* 1996. № 12. С. 37).
- ⁴ Такова исходная посылка многих отечественных трудов по истории и этнографии. По армянам, например, см.: *Тер-Саркисянц А.Е.* Армяне: История и этнокультурные традиции. М., 1998.
- ⁵ Именно так трактовали российскую диаспору отечественные исторические демографы (см. труды С.И. Брука, В.М. Кабузана и других).
- ⁶ См. русское издание с богатыми историческими примечаниями А. Вознесенского: *Игнатъев М.* Русский альбом: Семейная хроника. СПб., 1996.
- ⁷ Там же. С. 10.
- ⁸ Мой запрос в Интернете на слово *диаспора* одним из первых дал раздел веб-сайта Республики Татарстан под названием “Татарская диаспора вне Республики Татарстан”. Следующими шли главным образом веб-сайты бывших россиян в Израиле и США.
- ⁹ *Gorenburg D.* Identity Change in Bashkortostan: Tatars into Bashkirs and back // *Ethnic and Racial Studies.* 1999. Vol. 22. N 3. P. 554–580.
- ¹⁰ *Safraan W.* Diaporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return // *Diaspora.* 1991. Vol. 1. N 1. P. 83–84.
- ¹¹ См. замечательное исследование диаспор Южной Азии: *Ghosh A.* The Shadow Lines. N.Y., 1989.
- ¹² *Clifford J.* Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge (Mass.). 1997. P. 249.
- ¹³ См.: *Арутюнян Ю.В.* Армяне-москвичи: Социальный портрет по материалам социологического исследования // *Советская этнография.* 1991. № 2.
- ¹⁴ Об этом см. в главе III.
- ¹⁵ *Игнатъев М.* Указ. соч. С. 9, 11–12.
- ¹⁶ Здесь и далее основные данные взяты из: *Брук С.И., Кабузан В.М.* Миграции населения: Российское зарубежье // *Народы России: Энциклопедия* / Гл. ред. В.А. Тишков. М., 1994.
- ¹⁷ Там же. См. также: *Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах* / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 1996.
- ¹⁸ *Rouse R.* Mexican Migration and the Social Space of Postmodernism // *Diaspora.* 1991. Vol. 1. N 1. P. 14.

- ¹⁹ См.: *Hannerz U.* Transnational Connections. Culture, people, places. London; New York, 1996; Displacement, diaspora, and geographies of identity / Ed. S. Lavie, T. Swedenburg. Durham; London, 1996.
- ²⁰ *Ethnic Racial Studies*. Special issue. 1999. Vol. 22. N 2: Transnational communities.
- ²¹ *Cohen R.* Diasporas and the Nation-state: From victims to challenge // *International Affairs*. 1996. Vol. 72. N 3. July. P. 9.
- ²² *Dickstein M.* After the Cold War: Culture as politics, politics as culture // *Social Research*. 1993. Vol. 60. N 3. P. 539–540.
- ²³ *Cohen R.* Op. cit. P. 520.
- ²⁴ *Clifford J.* Op. cit. P. 257.
- ²⁵ Об этом см.: *Малахов В.С.* Новое в междисциплинарных исследованиях: (“Историко-ситуативный” метод в трудах В.А. Тишкова) // *Общественные науки и современность*. 2002. № 5.
- ²⁶ См.: *Илларионова Т.С.* Этническая группа: Генезис и проблемы самоидентификации (теория диаспоры). М., 1997; *Левин З.И.* Менталитет диаспоры. М., 2001; *Аствацатурова М.А.* Диаспоры в Российской Федерации: Формирование и управление. Ростов-на-Дону; Пятигорск, 2002.
- ²⁷ Государство и диаспоры: Опыт взаимодействия / Отв. ред. Ю.Е. Фокин. М., 2001.
- ²⁸ *Шеффер Г.* Диаспоры в мировой политике // *Диаспоры*. 2003. № 1.
- ²⁹ Новые диаспоры: Государственная политика по отношению к соотечественникам и национальным меньшинствам в Венгрии, Украине и России / Под ред. В. Мукомеля и Э. Паина. М., 2002.
- ³⁰ Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 1996.
- ³¹ См., например: Миграция русскоязычного населения из Центральной Азии: Причины, последствия, перспективы / Под ред. Г. Витковской. М., 1996; *Витковская Г., Петров Н.* Политические предпочтения вынужденных переселенцев. М., 1997; В движении добровольном и вынужденном: Постсоветские миграции в Евразии / Под ред. А.Р. Вяткина, Н.П. Космарской, С.А. Панарина. М., 1999; Миграции и урбанизация в СНГ и Балтии в 90-е годы / Под ред. Ж.А. Зайончковской. М., 1999; *Савоскул С.С.* Русские нового зарубежья: Выбор судьбы. М., 2001; *Буховец О.Г.* Постсоветское “великое переселение народов”: Беларусь, Россия, Украина. М., 2000; и др. (подробно см.: Миграции населения в постсоветских государствах: Аннотированная библиография российских изданий. 1992–1997. М., 1998).
- ³² *Полоскова Т.* Диаспоры в системе международных связей. М., 1998.
- ³³ *Космарская Н.* “Русские диаспоры”: Политические мифологии и реалии массового сознания // *Диаспоры*. 2002. № 2.
- ³⁴ Одна из первых работ на эту тему: Миграции в постсоветском пространстве: Политическая стабильность и международное сотрудничество / Под ред. Дж. Азраэла, В. Мукомеля, Э. Паина. М., 1996.
- ³⁵ *Collier P., Hoeffler A.* Greed and Grievances in Civil War. Wash., 2000.
- ³⁶ См., например: *Modern Diasporas in International Politics* / Ed. G. Sheffer. L., 1986.
- ³⁷ Подробнее об этом см.: *Libaridian G.J.* The Challenge of Statehood. Armenian Political Thinking Since Independence. Watertown, 1999.
- ³⁸ *King Ch., Melvin N.J.* Diaspora Politics: Ethnic Linkages, Foreign Policy, and Security in Eurasia // *International Security*. 1999/2000. N 24 (Winter); *The New*

European Diasporas: National Minorities and Conflict in Eastern Europe / Ed. M. Mandelbaum. N.Y., 2000.

- ³⁹ См. последние крупные работы на эту тему: *Shain Y.* Marketing the American Creed Abroad: Diasporas in the U.S. and Their Homelands. N.Y., 1999; *Idem.* Foreign Attachments: The Power of Ethnic Groups in the Making of American Foreign Policy. Cambridge, Mass., 2000; *Saideman M.S.* The Ties that Divide: Ethnic Politics, Foreign Policy, and International Politics. N.Y., 2001.
- ⁴⁰ International Migration and Security / Ed. M. Weiner. Boulder, 1993; *Shain Y.* The Frontier of Loyalty: Political Exiles in the Age of the Nation-State. Middletown, Conn., 1989.
- ⁴¹ *Desipio L.* Sending Money Home... For Now: Remittances and Immigrant Adaptation in the United States. Austin, Texas, 2000; *Gillespie K., Sayre E.* and *Riddle L.* Palestinian Interest in Homeland Investment // *The Middle East Journal.* 2001. N 55 (Spring); *Shain Y., Sherman M.* Diasporic Transnational Financial Flows and Their Impact on National Identity // *Nationalism and Ethnic Politics.* 2001. Vol. 7. N 4 (Winter).
- ⁴² В отечественной литературе были исследованы в историческом аспекте “торговые” или “предпринимательские меньшинства” в странах Арабского Востока и Тропической Африки (см.: *Дятлов В.И.* Торгаши, чужаки или посланные богом? Симбиоз, конфликт, интеграция в странах арабского Востока и тропической Африки. М., 1996).
- ⁴³ См., например, работы известных антропологов: *Hannerz U.* Transnational Connections. Culture, People, Places. London, New York, 1996; *Clifford J.* Traveling Cultures // *Cultural Studies* / Ed. L. Grossberg et al. N.Y., 1992.
- ⁴⁴ О переносе предпринимательского духа через диаспорные флуктуации см., например: *Naim M.* The New Diaspora // *Foreign Policy.* 2002. July/August.
- ⁴⁵ *Weiner M., Teitelbaum M.S.* Political Demography, Demographic Engineering. N.Y., 2001. См. также: *Тишков В.А.* Этнология и политика. М., 2001.
- ⁴⁶ Литературная газета. 2003. № 27. С. 8.
- ⁴⁷ *Shain Y., Wittes T.* Peace as a Three-Level Game: The Role of Diaspora in Conflict Resolution // *Ethnicity and US Foreign Policy* / Ed. Th. Ambrosio. 2003.
- ⁴⁸ См.: *Тишков В.А.* Общество в вооруженном конфликте: Этнография чеченской войны. М., 2001.
- ⁴⁹ *Al-Ali N., Black R., Koser Kh.* The Limits to “Transnationalism”: Bosnian and Eritrean Refugees in European Emerging Transnational Communities // *Ethnic and Racial Studies.* 2001. Vol. 24. N 4 (July).
- ⁵⁰ *Woodward L.S.* Diaspora, or the Dangers of Disunification? Putting the “Serbian Model” into Perspective // *The New European Diasporas: National Minorities and Conflict in Eastern Europe.* P. 162.
- ⁵¹ International Migration and Security; *Weiner M.* The Global Migration Crisis: Challenges to State and to Human Rights. N.Y., 1995; *Sheffer G.* Ethno-National Diasporas and Security // *Survival.* 1994. Vol. 36. N 1 (Spring).
- ⁵² *Шик Е.* Приблизительные выкладки о понятии “диаспора” и экспериментальные наблюдения его применения в венгерском контексте // *Новые диаспоры...* С. 21–41.
- ⁵³ *Shain Y.* The Frontier of Loyalty...
- ⁵⁴ Социологические опросы Ю.В. Арутюняна показали, что большинство российских армян не знают, какие существуют организации и лидеры, действующие от их имени в качестве армянской диаспоры.

- ⁵⁵ *Esman J.M.* Diasporas and International Relations // *Modern Diasporas in International Politics*. P. 340–343.
- ⁵⁶ *Clough M.* Grass-Roots Policymaking: Say Good-Bye to the “Wise Men” // *Foreign Affairs*. 1994. N 73 (January–February).
- ⁵⁷ *Smith T.* Foreign Attachments: The Power of Ethnic Groups in the Making of American Foreign Policy. Cambridge, Mass., 2000.
- ⁵⁸ *Weiner M., Teitelbaum M.S.* Op. cit. P. 78.
- ⁵⁹ *Beilin Y.* His Brother’s Keeper: Israel and Diaspora Jewry in the Twenty-First Century. N.Y., 2000. P. 74; *Shain Y., Sherman M.* Op. cit.
- ⁶⁰ *Suny R.* Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia // *International Security*. 1999/2000. N 24 (Winter).
- ⁶¹ См. также: *Libaridian G.J.* Op. cit.
- ⁶² *Jepperson L.R., Wendt A., Katzenstein P.J.* Norms, Identity, and Culture in National Security // *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* / Ed. P.J. Katzenstein. N.Y., 1996. P. 90.
- ⁶³ *Laitin D.D.* Identity in Formation. The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca; London, 1998.
- ⁶⁴ См. мою рецензию на книгу Д. Лейтина с объяснением этого подхода: *Studies in Comparative International Development*. 2000. Vol. 35. N 2 (Summer). С. 100–103.
- ⁶⁵ *Laitin D.D.* Op. cit. P. 29–30.
- ⁶⁶ *Saideman M.S.* The Op. cit. P. 138–41.
- ⁶⁷ Известия. 2003. 28 апр.
- ⁶⁸ *Katzenstein P.* Introduction: Alternative Perspectives on National Security // *The Culture of National Security...; Finnemore M.* National Interests in International Society. Ithaca, 1996.
- ⁶⁹ *Tololyan Kh.* The Nation-State and Its Others: In Lieu of a Preface // *Diaspora: A Journal of Transnational Studies*. 1991. Vol. 1. N 1. P. 4; *Laitin D.D.* Op. cit. P. 30.
- ⁷⁰ *Safran W.* Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return // *Diaspora*. 1991. Vol. 1. N 1. P. 83–84.
- ⁷¹ *Шеффер Г.* Указ. соч. С. 176–178.

ДИАЛОГ ИСТОРИИ И АНТРОПОЛОГИИ

Заключительная глава представляет собой размышления о природе и диалоге двух мощных гуманитарных дисциплин – истории и социально-культурной антропологии. Одновременно – это также и попытка историко-антропологического взгляда на прошитое столетие и на рубеж двух тысячелетий¹. Появление такого текста стало возможно по причине двойной профессиональной лояльности автора двум научным дисциплинам – истории и этнологии. Собственно говоря, такой лояльностью обладает подавляющее большинство российских этнологов, получивших образование на исторических факультетах и имеющих научные степени в области исторических наук. Другое дело, что в своих конкретных исследовательских практиках некоторые этнологи быстро забывают университетские курсы и перестают быть историками, а некоторым, наоборот, так и не удается вырваться из исторической методологии и стать этнологом, т.е. работать на основе этнографического метода и мыслить антропологически.

Первый случай можно объяснить только недостаточным прилежанием и изначально узким кругозором под воздействием ранней специализации, или же тем, что некоторые теоретики этноса и этничности никогда историками и не были и таковыми себя не считают. Второй случай более понятен, ибо в России этнология не имеет статуса самостоятельной научной дисциплины, и базовое образование, даже при хорошей специализации по этнографии, является историческим. Именно поэтому многие российские этнологи, особенно из числа прилежных студентов-историков, остаются на всю жизнь историками по своему научному менталитету, и в этом заключается неоднократно поражавшие меня неумение видеть этнографическую современность, а отсюда равнодушное отношение к последней, а иногда и откровенное презрение к сегодняшним реалиям. “Деревня ваша для нас была не так интересна: бабушек настоящих мало, и люди не очень разговорчивые”, – сказала мне одна из сотрудниц после работы этнографической экспедиции в районах Рязанской области. И так было сказано о деревне Алтухово, буквально алчущей социально-

культурного антрополога за те последние двадцать лет, которые я имел возможность ее наблюдать! Но об этом несколько ниже, а сначала о соотношении двух гуманитарных наук.

История и антропология находятся в тесном и сложном диалоге. На данную тему писали многие выдающиеся авторы, в том числе К. Леви-Стросс, Э. Эванс-Причард, С.А. Токарев, Ю.В. Бромлей. Эванс-Причард, прочитавший в 1961 г. в Манчестерском университете специальную лекцию на эту тему, признал, что он не видит существенной разницы между исследованиями социально-исторического рода и тем, что на языке антропологов называется изучением социальной динамики и социальных изменений: “В широком смысле можно даже сказать, что социальная антропология и история представляют собой смежные подразделения единой социальной науки, или смежные направления социальных исследований, – между ними существуют многочисленные точки соприкосновения, и обеими дисциплинам есть что взять друг у друга”². Эванс Причард завершил лекцию следующими словами: “В заключение скажу, что если я не соглашался с мнением профессора Леви-Стросса насчет разграничения сфер деятельности истории и социальной антропологии, то я согласен с его общим выводом, что две данные дисциплины различны не по целям, а лишь по ориентации и потому должны рассматриваться как неотделимые друг от друга (*indissociables*)”³. Эта позиция ближе всего моим собственным подходам, но за ее общей констатацией кроется огромное число сюжетов и вопросов.

Во-первых, далеко не всегда этнография (этнология, социальная антропология) рассматривалась как гуманитарная наука. Со времени своего зарождения она считалась частью естественно-научного знания, частью науки о природе и заключенных в ее эволюции естественных законов. В России эта наука родилась в недрах географии и натурфилософии, что отразилось как в заданиях и самоустановках ученых-естествоиспытателей, участвовавших в кругосветных и других экспедициях с целью сбора различных сведений, в том числе и о народах, так и в том, что первое институциональное оформление этнографии произошло в рамках Российского географического общества. Д.Н. Анучин и П.П. Семенов-Тянь-Шанский в большей мере были представителями естественных наук, и для них этнография являлась частью изучения “живой природы”. Американский антрополог и историк Ю. Слезкин исследовал этот вопрос и убедительно показал натурфилософские истоки ранней российской этнографии⁴. В этом отечественная наука мало отличалась от развития мировой антропологии вплоть до конца 1920-х годов, когда произошла ее “советизация”⁵.

Этот вывод совпадает с общей оценкой результатов естественно-научного подхода в антропологии, который был дан Эванс-Причардом: “Понятия о естественной системе и естественном законе, извлеченных из конструкций естественных наук... лежали в основании той самой ложной схоластики, которая приводила лишь к грубым и амбициозным формулировкам”⁶. Автор высказывания явно имел в виду своих учителей и отцов-основателей англо-американской антропологии Б. Малиновского и Ф. Боаса вместе с их многочисленными последователями. И дело здесь заключается не только в безнадежно устаревших догматах натурфилософии, но и в натуралистических идеалах позитивистской философии (“доктринерском позитивизме”, по словам Эванс-Причарда), которая оказывала определяющее влияние на антропологию вплоть до середины XX в. и которая, отчасти, сохраняет это влияние.

Как я показал во второй главе, это влияние в российской этнологии выражается не только в теории этноса, но и в конструкциях, претендующих на глобальную методологию истории. Тем не менее последние все равно видят в этой истории эволюцию организмов (*социоров*) по схожим для естественных систем социологическим законам и не позволяют сделать даже шага в сторону от социологического реализма. На мой взгляд, дальше всех от историографического ремесла находятся прежде всего те этнологи, которые заявляют себя как методологи и “историки первобытности”: их жесткие глобально-сравнительные конструкции основаны на небольшом количестве фактов, как правило, вырванных из контекста. Однако самое главное заключается в том, что эти субъектно-объектные конструкции познания не оставляют места человеку с его ценностями, эмоциями и стремлением к инновациям, а также самой неопределенности и вариативности как важнейших элементов жизни. Я уже не говорю об игнорировании саморефлексии со стороны самого ученого и о роли “субъекта” как творца той самой “объективной реальности”. Это осмысление роли ученого в антропологическом и историческом познании пришло значительно позже, но оно произошло, оправдав предсказанную Эванс-Причардом еще в середине XX в. неизбежную гуманизацию антропологии и ее движение в сторону истории. Именно с этих обновленных теоретико-методологических позиций мне бы хотелось рассматривать современный диалог истории и антропологии.

История – отрасль гуманитарного знания, которая описывает и объясняет свершившиеся события, исходя из понимания, что история никогда себя не повторяет. Цеховой основой этой дисциплины является изучение исторических, прежде всего ар-

живных, документов и, отчасти, артефактов. Антропология – наука о человеке и о создаваемых им культурных формах и социальных коалициях как в аспекте исторической (в том числе биологической) эволюции, так и в ракурсе современной жизни. Именно поэтому цеховой основой социальной и культурной антропологии, или этнологии, является этнографический метод, или метод включенного наблюдения, фиксирующий непосредственную жизнь общины, группы или другого сообщества в целях кросс-культурных сравнений и для более общего понимания человеческого общества.

Но дело даже и не в методе, ибо этнограф (особенно российский) может с успехом проводить значительную часть своего времени в архивах и даже только в архивах, а его эпизодические выходы на современные сюжеты часто бывают откровенно неудачными. Могу судить хотя бы на основании того, что некоторые мои коллеги-американисты, будучи прекрасными специалистами по историческим реконструкциям древних мезоамериканских культур или по истории российской колонизации Северной Америки, вдруг обращаются к теме массовых политических (националистических) демонстраций эпохи распада СССР, трактуя их как феномен театрального праздника, или к оценке жизненных стратегий периода российских трансформаций, объясняя их как возрождение традиционных систем кризисного выживания⁷. Дело заключается в *видении*, т.е. в ракурсе исследования и в задавании тех вопросов, на которые ищутся ответы. А вот это последнее зависит уже не только от вузовской натасканности на работу с источником или на сбор этнографического материала. Здесь вступает в действие одно из важных различий в смыслах и в практике двух дисциплин, которое проходит на более глубоком уровне, чем *умение*, а именно на уровне *стиля*.

Рискну объяснить на своем личном примере эту трудноподдающуюся анализу материю. Мои почти 40 лет занятий гуманитарной наукой распадаются примерно на две равные половины: первая – изучение новой истории Канады и США и историографии этих двух стран, вторая – период этнологических исследований, на североамериканских и отечественных материалах. Работая с увлечением в канадских архивах и библиотеках над темой истории восстания 1837 г. и движения за реформы и самоуправление в Канаде в период английского колониального господства, я представлял себе именно эти и сходные им исторические сюжеты и изучаемые хронологические периоды как самые важные и интересные из всего североамериканского прошлого. Кипевший в то время квебекский сепаратизм мне был мало интересен (только как аргумент в пользу актуальности занятий Канадой и исто-

рией франкоканадского национального вопроса), и мне даже было забавно, почему канадская спецслужба буквально сидела на мне круглосуточно, когда я работал в архиве г. Квебека и в библиотеке Лавальского университета. В силу своей установки и академической подготовленности я не замечал того, что увидел в Квебеке примерно в те же самые годы и блестяще проанализировал американский антрополог Ричард Хэндлер – один из известных представителей нового направления в антропологии, основанного на экспериментальной этнографии, междисциплинарном подходе и конструктивистском методе осмысления⁸.

С тех пор прошло около двадцати лет, и, встречая своих давних коллег по цеху исторической канадистики, я ловлю себя на мысли о том, как было бы ужасно, если бы я так и продолжал заниматься историей колониальной Канады, а точнее, как можно было считать исторические штудии самыми важными, а антропологическое изучение современных проблем на основе этнографического метода как нечто малодостойное. “Современность?! – так это же политика”, – можно часто услышать замечания не только историков, но и этнологов. А на мой вопрос, почему в томе “Русские” историко-этнографической серии “Народы и культуры” совсем выпал XX в., включая огромные по своей значимости социокультурные события и явления именно для данного народа, получил от одного из ведущих авторов тома примерно следующий ответ: “Так это же современность, и в ней уже нет традиционной культуры, которую изучает этнография: эта культура исчезла”. Но такое замечание можно услышать почти исключительно только от российского этнографа, который остается по своей базовой ориентации историком. Социально-культурный антрополог такого сказать не может, ибо для него субъект изучения пребывает в современности, а историческая реконструкция необходима в той мере, чтобы лучше понять эту современность. И здесь проходит та самая важная линия разного видения, которую Эванс-Причард выразил в следующих словах: «Антропологи придают первостепенное значение полевой работе вследствие их специфической подготовки, и в некоторой степени это обуславливает следующее состояние дел: историки, как правило, прослеживают ход истории “вперед”; антропологи же, как правило, прослеживают его “назад”»⁹.

Поясню эту мысль на примере своих исследований истории Канады, в том числе канадского восстания 1837 г., и этнографии чеченской войны. Как историк Канады, я начал изучение и строил свое повествование с как можно более дальнего прошлого, т.е. с “исторических предпосылок канадской революции 1837 года” (именно так называлась моя кандидатская диссертация) и с

написания книги о “начале истории” страны кленового листа (так называлась моя первая книга)¹⁰. Вероятно, что и историк чеченской войны обратился бы прежде всего к моментам покорения Чечни российским государством и к началу сопротивления русской армии со стороны местного населения, особенно с Кавказской войны XIX в. Или же повествование могло быть с более поздних событий, но в любом случае историк строил бы его таким образом, чтобы объяснить настоящее с точки зрения тех знаний, которые он получил о прошлом.

Спустя почти тридцать лет мое этнографическое исследование общества в вооруженном конфликте на примере Чечни уже строилось иным образом: мне прежде всего было интересно, почему произошел столь жестокий конфликт именно во второй половине 1990-х годов, какова была культурная динамика и суть конфликта. И только отталкиваясь от своего представления о настоящем моменте, мною была поставлена задача объяснить, в какой мере исторические факторы определили мотивы и аргументы современного чеченского сепаратизма в его вооруженной форме. В итоге, рассмотрев в должной мере историю Чечни и чеченцев в предшествовавшие конфликту десятилетия, я все же пришел к выводу, что этот конфликт не есть стадия или результирующая предшествовавшей общественной эволюции, а есть конфликт прежде всего современных акторов социального пространства и по поводу современных целей, а исторический фактор (точнее, ссылка на прошлое) служит мощнейшим средством мобилизации, политическим и моральным аргументом вооруженной борьбы.

И хотя между историческим и этнографическим исследованиями провести четкую грань бывает достаточно непросто, тем не менее само использование материала и построение нарратива различаются. В исторической работе хронологическая последовательность и развитие событий по фазам почти всегда выступают организующим принципом. Для антрополога (этнолога) важнее вопрос о структуре явления в его настоящий момент и социальные отношения, которые возникают в связи с этим явлением. И все же у меня вызывает определенные сомнения жесткая формула: антрополог изучает настоящее, обращаясь к истории, а историк обращается к прошлому, чтобы понять настоящее. Знание древних и даже древнейших пластов культурного прошлого, особенно социальных основ поведения человека и человеческих коллективов, а также исторические реконструкции популяционных, лингвистических, потестарных и других систем, почти всегда составляет необходимость, хотя претензия, что история первобытного общества есть исключительный домен этнологии на-

ми не разделяется, как и амбициозное мнение Ю.И. Семенова, что упразднение сектора истории первобытного общества в Институте этнографии АН СССР в самом начале 1990-х годов “не только задержало, но и намного отбросило назад развитие историологии первобытности не только в нашей стране, но и во всем мире”¹¹. Насколько я могу судить по отечественным исследованиям, последнее десятилетие было одним из самых плодотворных в изучении и теоретическом осмыслении ранних этапов человеческой истории, не говоря уже об этнической истории¹².

Однако опять же все эти замечания о том, кому принадлежит прошлое и кому настоящее, носят условный характер. Новейшие исторические подходы не обходятся без антропологического анализа, и даже имеется научное направление в историографии, которое так и называется – историческая антропология. В свою очередь, сама антропология пронизана историзмом настолько, что в российской обществоведческой традиции эта наука вообще считается одной из исторических поддисциплин (этнография, этнология), а в мировом общественном знании, наоборот, такие дисциплины, как археология и историческая лингвистика входят в состав социальной и культурной антропологии, а не истории. Это, например, подтверждают программы всемирных конгрессов историков и антропологов, участником которых автор был с начала 1970-х годов. В данном случае для нас важен взаимообогащающий диалог двух дисциплин, чтобы использовать его для нестандартного случая – историко-антропологического взгляда на рубеж веков и тысячелетий.

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ В ИСТОРИИ И АНТРОПОЛОГИИ

Сначала о некоторых исходных теоретико-методологических предпосылках данного анализа. Одним из центральных в социально-культурной антропологии (этнологии) является понятие *идентичности* как процесса конструирования значимых миров, особенно в их исторической перспективе. Одними из важнейших в XX в. стали такие формы коллективной (групповой) идентичности, как этническая (культурная) и национальная (государственная). Именно эти две основы для выстраивания социальных коалиций людей пришли на смену другим формам идентичности, которые господствовали в прошлые исторические эпохи, а некоторые сохранили свою значимость и поныне (религиозные, семейно-клановые, сеньориально-династические, регионально-местнические и другие). Две формы социальных группировок лю-

дей (государства и этнические общности) как бы обрели всеохватывающую форму и даже конкурирующий характер. Как заявил в начале 1990-х годов один из идейно-политических лидеров современного татарского национализма Р.С. Хакимов, “мир продолжает думать, что он состоит из государств, но на самом деле он состоит из этносов”¹³.

Идентичность как форма самоопределения личности или группы не происходит в вакууме, а в определенном образом организованном и интерпретированном мире. По этой причине личностные и групповые самоидентификации постоянно и неизменно подвергают фрагментации более широкое поле идентичности, частью которого были или остаются субъекты новой идентификации. Это верно как в отношении отдельного человека, так и общества или этнической группы (“мы не советские, мы – латыши; мы не латыши, а мы – латгальцы”, “мы – не россияне, а мы – татары; мы – не татары, а болгары” и т.д.).

Конструирование прошлого в культурных терминах представляет собой процесс выборочной организации прошлых событий для обеспечения преемственности с современным субъектом идентификации. Тем самым создается соответствующая версия прошлой жизни, которая ведет к современности, и тем самым “жизненная история” (страны, народа, человека) становится важнейшим актом самоидентификации. Идентичность – это прежде всего вопрос обретения власти в ее широком значении слова (легитимность, статус, полномочия и даже право на насилие). “Мы – не русские и не татары, а мы – башкиры со своей собственной историей” – без этого ментального упражнения невозможны все последующие акции: писание собственной “национальной истории”, политическая мобилизация, “своя” государственность, занятие престижных постов, доступ к приватизируемым ресурсам и т.п. В этом контексте индивид или группа, или политическое образование не могут существовать без истории: чем она древнее и богаче культурными героями, тем сильнее аргументы в пользу современного права на отдельность и вытекающие из этого преимущества или, наоборот, потери.

Если вдруг с “собственной историей” не получается все гладко, то это, по мнению субъектов идентификации, означает, что история была “похищена”, “искажена”, “запрещена” или “замалчивалась” другими и требует обязательного “восстановления” или “исправления”. *XX век был самым историчным по части появления огромного числа новых субъектов групповой самоидентификации с претензией иметь академические версии своего прошлого и по числу профессионалов, которые добывают необ-*

ходимый материал, создают и распространяют эти версии. Поскольку никакая идентичность – ни этническая (по группе), ни национальная (по стране или государственности) – не является естественно заданной, то она должна вырабатываться через усилия интеллектуалов, политиков и общественных активистов. Именно благодаря этим усилиям (устно-семейные истории и местная среда явно отошли на второй план) создается эмоциональная и другая приверженность человека определенной этнической общности (культурной нации или этнонации) или стране (политической, гражданской нации).

Эти две формы идентичности в XX в., особенно в его последнее десятилетие, на территории бывшего СССР переживали драматические трансформации и меняли свое содержание. Так, например, поменяв идеологические приоритеты с узкоэтногрупповых на вариант этногосударственных (строительство татарстанской идентичности на преимущественной основе татарскости), тот же Р.С. Хакимов уже в должности директора Института истории Национальной академии наук Республики Татарстан и помощника президента республики формулирует историко-культурную задачу местных интеллектуалов в несколько ином виде:

“Перестройка всколыхнула историческую мысль на всем пространстве СССР, включая Россию и Татарстан. Если в царское и советское время история каждого народа во многом совпадала с этногенезом (?! – В.Т.), то обретение независимости союзными республиками и объявление государственного суверенитета автономными поставили проблемы формулирования исторических исследований совершенно в ином свете. Любая государственность нуждается в своем историческом обосновании и черпает духовный потенциал в традициях. Татарстан, став самостоятельным, перестал зависеть от московской точки зрения и начал вырабатывать собственные взгляды на историю...”

В то же самое время историческая мысль России оказалась в довольно сложном положении. Она попала под огонь критики с самых разных сторон: за приверженность марксистско-ленинской методологии, необъективность изложения русской истории, пренебрежение историей других народов и т. д. Более того, она перестала выполнять роль эталона для историков, а потому историческая наука Татарстана оказалась перед необходимостью самостоятельно формулировать свои методологические и теоретические основы”¹⁴.

Если мы сравним оба высказывания моего коллеги из Татарстана, то обратим внимание, что в конце 1990-х годов мир Р.С. Хакимова уже не так приоритетно состоит из этносов, а прежде всего из государственных образований, причем Татарстан и Россия мыслятся как две различные категории, т.е. Татарстан – не как часть общероссийского пространства.

Историописание – это образ производства идентичности, поскольку история обеспечивает связь между тем, что предположительно произошло в прошлом, и сегодняшним состоянием дел. Конструирование истории – это создание значимой кладовой событий и рассказов, значимой именно для данного индивида или для определенного (*определенного* кем? – это особый вопрос) коллективного субъекта. Как отметил голландский антрополог Джонатан Фридман, “поскольку мотивация процесса конструирования исходит от субъекта, пребывающего в определенном социальном мире, мы можем сказать, что в каком-то смысле история – это отражение образа (автор употребляет термин *импринтинг*. – В.Т.) настоящего в прошлом. И в этом смысле вся история, включая и современную историографию, представляет собою форму мифологии”¹⁵. Конечно, речь идет о мифологии в ее культурно-антропологическом, а не в бытовом понимании. Другими словами, *история представляет собой поле состязательности между субъектами идентификации, когда полный консенсус трудно достигим, несмотря на то что само занятие историей в большинстве своем носит профессиональный характер и безусловно относится к разряду гуманитарного научного знания. Только само это знание и участники его производства пребывают в несвободном от культурно-ценностного контекста властных взаимовлияний и современных воздействий.*

В исторической антропологии существуют как бы два крайних подхода к историческому знанию. Для одних ученых (своего рода западный неомарксистско-структуралистский вариант) “исторические события не существуют и не могут иметь материальную эффективность в настоящем. Условия существования современных социальных отношений существуют и постоянно воспроизводятся в современности”¹⁶. Для других (постструктуралистская антропология), наоборот, “культура – это есть преимущественно организация современной ситуации в терминах прошлого”¹⁷. Обе позиции о взаимоотношении истории и антропологии достаточно экстремальны, хотя наши симпатии больше на стороне последней. Антрополог, конечно, изучает прежде всего современность, как это делали Н.Н. Миклухо-Маклай, Ф. Боас и Б. Малиновский и как это делают все последующие поколения исследователей. Но и историк интерпретирует прошлое с точки зрения его индивидуального опыта в настоящем. Как писал Эванс-Причард, “факты, исследуемые историком, были бы бессмысленными, если бы он не мог провести какие-то аналогии между ними и фактами сегодняшнего дня. Следовательно, можно утверждать, что только тот историк, который понимает настоя-

щее, способен понять прошлое... Иными словами, если антропологи в основном озабочены настоящим и принимают прошлое в некоторой степени за данность, то историки, наоборот, озабочены прошлым и принимают настоящее за данность. Возникает парадокс: мы считаем, что настоящее можно верно оценить только в ретроспективе, т.е. когда оно станет прошлым, но вместе с тем полагаем, что прошлое можно верно оценить только в свете настоящего”¹⁸. Ниже я выскажу некоторые дополнительные соображения по этой проблеме, но сначала о втором ракурсе данной главы – об оценке прожитого XX в. с точки зрения историко-антропологического подхода.

КОНСТРУИРУЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ТЕОРИЮ

Как мне представляется, *XX век был самым историчный век во многих отношениях: в смысле плотности исторического времени и действия, в смысле накопления эмпирического знания о прошлом, в смысле производства исторических версий и их прямой конкуренции и в смысле воздействия историографии как науки и как части общественно-политического дискурса на социальную реальность*. Однако осознание этих черт еще недостаточное или же далеко не всеми разделяется, в том числе и в ходе дебатов по поводу вступления в третье тысячелетие человеческого меньшинства, именуемого христианским миром.

Началом дебатов *fin de la siecle* среди историков можно считать изданную в 1987 г. книгу английского историка Пола Кеннеди “Подъем и упадок великих держав”. Эта интригующая своим предсказанием мирового упадка США книга заканчивалась следующими словами: “Перефразируя известную ремарку Бисмарка, все эти державы путешествуют по “потoku Времени”, который они не в силах “создать или направлять”, но по которому они могут плыть с большим или меньшим искусством и опытом. Что будет с ними в ходе этого пути, зависит во многом от мудрости правительств в Вашингтоне, Токио, Пекине и различных европейских столицах”¹⁹. В то время эти слова мне казались слишком тривиальными для концовки столь нашумевшего сочинения, о чем мною было сказано автору во время его лекции в Нобелевском институте в 1990 г. и с чем он был вынужден согласиться.

Теперь я изменил это мнение по двум причинам. Во-первых, все последующие подобные глобально-исторические тексты, получившие огромную популярность, содержали изрядную долю упрощений и банальностей, что, видимо, необходимо для “рыночных” версий истории. Во многом банальными оказались кни-

ги Фрэнсиса Фукуямы о конце истории и Сэмюэля Хантингтона о конфликте цивилизаций. Во-вторых, в явно слабых заключительных словах Пола Кеннеди мы обнаруживаем гораздо больше проникновения, чем во всех его предшествовавших рассуждениях по поводу *теории* и *методологии*. Глубина этих слов заключается не в отсылке к детерминистской ремарке Бисмарка, а в допущении мудрости и глупости правительств как решающих факторов хода исторических событий. Именно этот взгляд на историю, позволяющий предвиденные и непредвиденные (стохастические) действия людей (правителей и других действующих лиц социального пространства) трактовать как определяющие в “потоке Времени”, представляется нам наиболее современным и адекватным.

XX век, особенно его последнее десятилетие, только подтверждает наше убеждение, что *возможно единственным и основным законом истории является неопределенность и многовариантность, а у исторической импровизации столько же шансов, сколько и у исторической закономерности, если таковая устанавливается исследователем и не является столь часто встречающейся постфактической рационализацией.*

Исследование антропологии российских трансформаций последнего десятилетия, особенно конфликтующей этничности²⁰, привело меня к выводу: в обществах личности (или социальные агенты) не управляются автоматически и не действуют как часы по законам, которые они сами не понимают или которые выше их воли. Существует еще и то, что французский философ Пьер Бурдьё назвал “ощущением игры”, позволяющей неопределенное число движений или шагов действия, которые приспосабливаются к неопределенному числу возможных ситуаций, которые, в свою очередь, не может предвидеть никакое правило²¹. Это указание Бурдьё на креативную и инновационную способность исторических акторов вести себя в соответствии с их позицией в социальном пространстве, а также на ментальные структуры, через которые они воспринимают это пространство, существенно помогает понять историю многих индивидуальных и коллективных стратегий, в том числе и в пространстве бывшего Советского Союза.

Руководствуясь “ощущением игры”, как лидеры, так и обычные люди действуют, как им представляется, рационально, но все же их действия основываются не только на одном разуме, или мудрости, если пользоваться словом Пола Кеннеди. Многие действия определяются импульсом, потому что “условия для рационального расчета редко существуют на практике: время ограничено, информация неполная и т.п.”. И все же, продолжает

Бурдые, «действующие агенты социального пространства выполняют ожидаемые действия (в смысле “единственное, что следует сделать”) гораздо чаще, чем если бы они действовали просто наобум. Это происходит потому, что, следуя в определенной ситуации интуитивно “логике практики”, которая является результатом длительного общения в схожих ситуациях, они предвидят присущую мироустройству необходимость»²².

Таким образом, *степень “неадекватности” или “неправильности” исторического действия – это всего лишь соотношение с имеющимся коллективным или индивидуальным опытом на основе доступной информации об этом опыте.* Казалось бы, такое заключение подтверждает распространенные сентенции, что “нужно знать историю” или “они плохо знают историю”, когда речь идет о современном процессе и решениях, принимаемых его участниками. Как часто рассуждают обыватели и профессионалы, беды и ошибки Горбачева, Гайдара и Ельцина были следствием того, что они плохо знали историю отмены крепостного права или столыпинской реформы в России, или историю Кавказа и даже не читали повесть Л.Н. Толстого “Хаджи Мурат”.

В этих безоговорочных суждениях о пользе исторического опыта, который включает как исторические свершения, так и ошибки, есть одна фундаментальная слабость, которую до этого не отмечали ни теоретики истории, ни философы-социологи, включая упоминавшегося Пьера Бурдые. Это касается самой “необходимости”, которая якобы присутствует в историко-временном пространстве, и того, что аккумулированный опыт прошлых действий всегда обязателен для современного решения.

Мы исходим из того, что *история как осмысленная версия – это современный ресурс и в принципе каждое новое поколение пишет свою собственную историю, как и в каждом поколении присутствуют конкурирующие версии с разными шансами стать если не единственными, то хотя бы доминирующими.* Многие из исторических версий – это те же политические лозунги, но только в форме академического нарратива или псевдоакадемических сочинений²³. В ситуации же радикальных трансформаций или открытых конфликтов история становится сражающимся ресурсом, который используется во властных диспозициях не менее активно, чем образы массмедиа или метафоры попкультуры. Было бы явно недостаточно только возмущаться тем, как, например, современные украинские или татарские историки переписывают историю Киевской Руси и Золотой Орды в духе новых этнонационалистических концепций или как североосетинские гуманитарии и политики прибрали в свое исключительное пользование аланское культурное наследие, для надежности за-

крепив данную узурпацию в названии республики. “Вот если так дело будет продолжаться, возьму и объединю обе Осетии и назову это все Аланией: историки знают, что наши аланские кости разбросаны по всему Кавказу”, – заявил мне однажды летом 1992 г. президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов, когда предпринимались наиболее активные усилия урегулировать вооруженный конфликт в Южной Осетии.

Каким образом формулируются подобные первоначально элитные версии и как они попадают в умы (лексикон) президентов, а затем простых людей, – это, казалось бы, вопрос за пределами традиционного историографического интереса, до сих пор основанного на европейском представлении о поиске “истины в истории”. Но следует признать, что даже “канонические” версии – это когда-то злободневная политика и всегда – личная позиция автора. История – это почти всегда призыв и предписание и это всегда – субъективный взгляд. Но и здесь мне не видится проблема, которая бы не осознавалась профессионалами. На то существуют историческая критика и другие проверочные процедуры, включая научные дискуссии. Методологическая слабость пушкинского “опыт – сын ошибок трудных” видится мне в том, что сам этот опыт в XX в. – веке профессиональной историографии и ее массового потребления – есть результат идеологических предписаний, когда теория не только отражает, но и вызывает к жизни “реальность” и (или) может разрушать ее.

Мы прожили этот век в радикальном отличии от предыдущих эпох, которое состоит в том, что историография как часть идеального профессионального перестала быть исключительной собственностью самих производителей этого идеального. Более того, в сверхобразованных обществах, каким было советское и какими в большинстве пока остаются постсоветские общества, вокруг профессионального гуманитарного производства образовался и активно действует периферийный массовый дискурс, в котором наука, паранаука и бытовое сознание пребывают в причудливых взаимосвязях. Только в таких обществах статья в научном журнале может стать поводом для массовой публичной демонстрации, а идеологические активисты отслеживают научные публикации, чтобы устраивать обширные газетные полемики или принимать по этому поводу политические декларации. Например, в чеченской декларации о суверенитете, принятой в 1991 г. на политическом митинге, называемом “Объединенным конгрессом чеченского народа”, нашлось место для отдельного пункта, который осуждал местного историка и археолога В.Б. Виноградова за версию “добровольного вхождения”, лишил его прав “гражданина Чеченской республики” и осуждал всех,

кто придерживается этой версии. С политического митинга и из официального кабинета пришло жесткое предписание армянской историографии считать Нагорный Карабах “исконно армянской территорией”, грузинской историографии – считать Южную Осетию “сердцем Грузии – Самачабло”, а уличную демонстрацию и ее насильственный разгон вписать в учебники как “апрельскую революцию”. Своя национально-освободительная “январская революция” появилась в азербайджанской историографии, под которой подразумеваются использование армии для наведения гражданского порядка и случившиеся жертвы среди населения в Баку в 1990 г. Постсоветские трансформации начались и заканчиваются историческими экскурсами и дебатами вокруг прошлого, особенно советского прошлого. *Но в какой-то мере сами эти трансформации и сопровождающие их кризисы и конфликты были сделаны со ссылками на историю, точнее, на сочиненные версии прошлого и по лекалам исторической пропаганды.*

Если объяснительные версии сочинены на основе zaangażированных современной борьбой установках “национального освобождения” или “национального самоопределения”, то, став через пропаганду и учебные тексты уже частью того самого опыта “сходных ситуаций”, они относятся скорее к категории не “пользы”, а “вреда” истории, о чем сами историки предпочитают никогда не говорить, ибо считают, что истории “мало быть не может”. поприветствовав руководителя чеченской делегации Таймаза Абубакарова на переговорах во Владикавказе в декабре 1994 г. обычным “Ну, как дела?”, я услышал в ответ: “Дела – революционные. Всю жизнь нас только этому и учили”. Безусловно, чеченский проект вооруженной сецессии идеологически обеспечивался теми выученными конструкциями о “национально-освободительных движениях” и “праве наций на самоопределение”, которыми были полны школьные и вузовские прописи советского периода и академические сочинения. Не обошлось и без внешних подсказок все тех же историков ислама, Кавказа или авторхановской “Империи Кремля”²⁴.

Даже когда наступил период ответственных смыслов, российские гуманитарии продолжали повторять или развивать саморазрушительные и научно несостоятельные проекты архетипического этнического (этносы, суперэтносы, субэтносы и прочее), “национального возрождения” (в смысле восстановления некоей этнокультурной нормы, якобы существовавшей в прошлом), создания для каждой этнической группы “своего” государства и т.п. Зуд интеллектуальных предписаний для остального общества, выполненных на основе узкопрофессионального, а чаще поверхностного знания, всегда был в арсенале современных сообществ,

но оказался особенно востребованным в новейший период, тем более в обществах, переживавших радикальные преобразования.

Г.П. Лежава, работавший в Абхазском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории АН ГССР еще в доперестроечные времена, вспоминает, как его покойный директор Г.А. Дзидзария в середине 1980-х годов тревожно заметил по поводу научных занятий одного из своих сотрудников: “Этот Владислав Ардзинба со своими писаниями по так называемой хеттологии доведет нас до войны с грузинами: не все ведь могут так спокойно реагировать”.

Кстати, первые вооруженные столкновения между грузинами и абхазами произошли почти сразу после газетной дискуссии (в форме “открытых писем” обладателей истины) между Гамсахурдиа и Ардзинба по поводу того, на каком языке выполнены каменные надписи местных памятников древности. Между войной историков и филологов и настоящей войной дистанция фактически исчезла, когда те же сами интеллектуалы стали обладателями власти и обрели способности организовать войну. Аналогичные ситуации наблюдались мною в других регионах мира с сильным влиянием этнонационализма и наличием вооруженной сецессии. В Квебеке, Ольстере, на Кипре и в Шри-Ланке – везде интеллектуалы обеспечивали передовые рубежи эмоциональной и политической мобилизации, и в конечном итоге их слова убивали не меньше чем пули.

Если вернуться в постсоветское пространство, то в какой-то степени не только идеология конфликта, но и сами действия абхазских, карабахских, чеченских инсургентов-сепаратистов стали не результатом необходимого ответа на практику схожих ситуаций (если следовать Бурдье), а попыткой сделать реальностью нереализуемый проект, зафиксированный в многотомных текстах по истории “национально-освободительных” и “международных рабочих” движений, удостоенных высшими госпремиями как аттестат исторического профессионализма. Даже то, что, казалось бы, не выучено из профессиональных версий, а представляется как “прямой опыт”, на поверку оказывается также внешним предписанием.

На упомянутых переговорах во Владикавказе каждый из чеченцев говорил о трагедии сталинской депортации как одной из причин борьбы за отделение Чечни от России. Чаще всего употреблялся термин “народоубийство” и “этноцид”. Но почти никто из нынешнего поколения комбатантов непосредственно лично эту трагедию не переживал (почти все они родились после 1958 г.), зато большинство закончили советские престижные вузы и военные училища. Депортация стала современной и всеоб-

щей коллективной травмой под влиянием драматических историко-литературных презентаций “400-летнего чеченского сопротивления”. Что же касается метафоры “народоубийства”, то она напрямую была заимствована из сочинения чеченского эмигранта Абдурахмана Авторханова об “империи Кремля” и подобных ему сочинений с мощным зарядом жизненного и политического реванша со стороны старшего поколения²⁵. Только творить историю этого реванша стали уже распропагандированные по поводу “геноцида” чеченцев внуки историка и политолога. Подлинная (лично прожитая) история сравнительно благополучной советской чечено-ингушской автономии (ЧИАССР) вспомнилась уже позднее на фоне руин Грозного и разрушенного местного сообщества, т.е. свершившегося исторического действия.

По большому счету, следующая пушкинская строка – “и гений – парадоксов друг” звучит гораздо историчнее, ибо она более открыта современному историческому творчеству, которое не обязательно всегда есть продолжение прошлого. В этом смысле нам более близки заключительные слова другой “большой книги” по поводу “короткого двадцатого века”, которые принадлежат одному из патриархов современной историографии. Эрик Хобсбаум так заканчивает свое исследование истекшего столетия – “Века экстрем”: “Мы не знаем, куда мы идем. Мы только знаем, что история привела нас в эту точку и, если читатель разделяет подход в этой книге, то и – почему привела. Тем не менее одна вещь представляется ясной. Если человечеству предписано иметь узнаваемое будущее, то оно не может быть продолжением прошлого или настоящего. Если мы попытаемся строить третье тысячелетие на этой основе, мы потерпим неудачу. И цена неудачи, то есть альтернатива изменяющему обществу, – есть мрак”²⁶.

Итак, я рассматриваю историю XX в. и нынешний этап исторической эволюции не просто с точки зрения профессионала-историка установить “как было”. Для меня история – это также сложный дискурс идеального (включая исторические и другие писания) и так называемого реально-исторического. В этом дискурсе *историки и другие интеллектуалы не только отражают и объясняют историю, но и творят (конструируют) реальность, причем как в созидательных, так и в разрушительных вариантах*. Именно здесь проходит основная граница методологической новации в отличие от предшествующих авторов метадебатов по поводу “большой” истории (т.е. истории глобальных обществ и глобальных явлений). Я считаю, что *история XX в. во многом создавалась интеллектуалами, причем не только в форме объяснительных описаний происходящего, но и в форме*

предписаний, что и как надо делать. И в этом смысле мы говорим не просто об ответственности историка, но и об его авторстве в истории, а значит, и о пользе или вреде его действий. Прожитый век, особенно отечественная история, дают более чем достаточно оснований для такого взгляда.

ИСТОРИЯ КАК ПОЛИТИКА ПРИЗНАНИЯ И ОТРИЦАНИЯ

Я уже отметил первичное значение групповой и индивидуальной идентичности, т.е. сугубо культурного фактора, в определении природы и смысла историописания. XX в. добавил этому фактору значения и власти настолько, что, по мнению некоторых экспертов, прожитое столетие войдет в историю как время противостояния двух важнейших тенденций: глобализации и нивелирования жизни через массовую культуру, с одной стороны, и растущим осознанием групповой сопричастности и крепнущей властью социальных сил и движений, основанных на религиозных, этнических, коммунальных и других идентичностях, с другой.

Мануэль Кастелс, посвятивший 3 томный труд XX в. и концу тысячелетия, свой первый том назвал “Власть идентичности”. Выдвигая положение о появлении нового типа общества – общества неформальных сетей или информационного общества, – Кастелс, тем не менее, пишет:

“Вместе с технологической революцией, трансформацией капитализма, упадком государственности мы пережили в последнюю четверть века всеобщий взрыв мощных проявлений коллективной идентичности, которая бросает вызов глобализации и космополитизму от имени культурной уникальности и стремления людей контролировать собственные жизни и среду обитания. Эти проявления множественны, крайне разнообразны, соотносятся с контурами конкретных культур, и каждая идентичность имеет исторические истоки своего образования. Они включают в себя общественные движения с целью изменения характера человеческих отношений на их наиболее фундаментальном уровне, как, например, феминизм и инвайронментализм. Но они также включают целый спектр ответных движений, которые выстраивают ряды сопротивления от имени Бога, нации, этничности, семьи, локального сообщества. В результате фундаментальные категории тысячелетнего существования оказались перед угрозой совместного вызова противоположных сил техно-экономического характера и трансформационных социальных движений”²⁷.

По мнению многих специалистов XX в. был веком меньшинств и различных социальных и культурных движений, в том числе сугубо партикуляристского толка, которые представляют собой мощную реакцию на глобальную экономическую и куль-

турную унификацию. Между двумя этими тенденциями оказались национальные государства, которые переживают глубокий кризис и не справляются с новыми вызовами²⁸. Рассмотрим эти аргументы с точки зрения социально-культурной антропологии.

Действительно, еще в начале XX в. сложившаяся система государств, которая включала огромные колониальные империи, во многом определяла нормы общественной жизни, во всяком случае – на уровне администрирования территорий, обеспечения правопорядка и безопасности. Государства как всеохватывающие политические образования определяли коллективные идентичности и характер форм исторических презентаций. Люди прежде всего делились на граждан соответствующих государств и их колониально-административных владений, а история писалась как история государств, их политических институтов и их военных соперничеств. В принципе подобная ситуация сохранялась на протяжении всего XX в. как в реальной политике, так и в историографии. Вторая половина века добавила только образование крупных блоковых коалиций государств и их мощнейшее идеологическое и политическое противостояние, чем также с энтузиазмом занимались (отчасти, соучаствовали) историки новейшего времени.

Однако уже после Первой мировой войны рождается политически оформленное движение этнических (национальных) меньшинств и доктрина национального самоопределения в ее новом варианте не как самоопределение гражданских сообществ, а как образование государств, у которых этнокультурные границы совпадали бы с границами политико-административными. Это было рождение нового национализма, а точнее – этнонационализма²⁹. Как отмечает Э. Хобсбаум, современный национализм с самого начала был “политическим проектом”. А суть этого проекта состояла в том, что западноевропейские державы вместе с США как победители в Первой мировой войне использовали принцип этнического самоопределения для навязывания своей воли по послевоенному обустройству главным образом Восточной Европы. Несмотря на предостережения некоторых экспертов, Вудро Вильсон и другие лидеры выдвинули этот принцип в его наиболее труднореализуемом варианте, и, конечно, не для тех территорий, над которыми они осуществляли государственный суверенитет, а для тех, в отношении которых была продиктована воля победителей.

История распорядилась так, что именно с начала века и до самого его окончания принцип этнического самоопределения нашел своих адептов и по-разному (в основном насильственным путем) реализовывался на ограниченной части территории Земли.

А именно – в Восточной Европе, включая и СССР, где не столько сам факт этнического многообразия населения (другие регионы мира не менее многоэтничны), а именно доктринальные установки стали определяющим фактором этого политического проекта. Сначала это была доктрина австро-марксизма о существовании культурной нации как архетипической реальности со своей коллективной волей и интересами, затем эклектическая марксистско-ленинская теория нации и национального вопроса и, наконец, так называемая советская теория этноса, согласно которой *нация* – это высший тип этнической общности³⁰. Именно академическая доктрина и под ее воздействием – политическая практика развели процессы государствообразования в отношении к этнокультурному фактору в зоне идеологического влияния СССР и остального мира.

Во “внешнем” мире на протяжении XX в. фактически сохранился рожденный Французской революцией принцип государствообразования как территориального сообщества, т.е. на принципе политической нации. Даже образование новых 60 государств после Второй мировой войны под лозунгами деколонизации и национального самоопределения произошло в жестком противодействии этническому (трайбалистскому) принципу государственной организации. Иначе не было бы возможности появиться на карте ни одному из постколониальных государств Азии и Африки: от Индии до Нигерии.

Только в последние десятилетия ситуация за пределами бывшего “соцлагеря” стала меняться, но далеко не радикальным образом. С началом моих собственных этноисторических исследований в Северной Америке в 1970-е годы совпало общественно-политическое и культурное движение за внутреннее самоопределение среди аборигенных народов США и Канады. Именно тогда родилась метафора “первых наций”, которую мобилизовали индейские активисты, чтобы улучшить социальное положение и сохранить культурное многообразие этой части населения. В рамках североамериканских национальных государств появляются “нации” дене, навахо, оджибве, лакота и десятки других³¹.

Примечательно, что за контакты с активистами организации “Гавайская нация” на Гавайях в 1983 г. мне было сделано внушение американским ФБР, а еще десятилетием раньше работник Канадской конной королевской полиции (название национальной спецслужбы) буквально ходил по моим пятам, когда я изучал в Квебеке франко-канадский “национальный вопрос”. Кстати, и моя первая научная статья, опубликованная в журнале “Вопросы истории” (1968), называлась “Происхождение франко-канадского национального вопроса”. Для моих методологических воззре-

ний того времени Канада представлялась “многонациональной” страной с двумя основными нациями, аборигенными народами и национальными меньшинствами, а США – страной американской нации с нерешенным национальным и расовым вопросами. Нервная озабоченность властей по поводу сепаратизма от имени культурно-отличительных меньшинств, по моему мнению, была подтверждением “нерешенности национального вопроса” в условиях капитализма.

Вот только тогдашний премьер-министр Канады Пьер Трюдо разъяснял обществу, включая радикальных националистов-франкофонов, и, заодно, заезжему советскому профессору, что в Канаде есть только одна нация канадцев, которая объединяет всех лояльных граждан страны независимо от этнического происхождения, расы и религии³². В США мои коллеги-историки и этнографы также придерживались мнения, что называемое мною “национально-освободительное движение” американских индейцев есть не что иное, как политическая мобилизация со стороны городских индейских радикалов на почве серьезных социальных проблем и дискриминации среди коренных жителей страны.

Еще десять лет спустя мною изучался опыт самоуправления среди норвежских саамов, в том числе при содействии активистов организации под названием “Саамская нация”. Но только ни сами саамы, ни остальные известные мне норвежцы не подвергали сомнению существование норвежской нации и собственное членство в ней. Хотя мои собственные наблюдения за норвежцами говорят, что полная “национальная” консолидация в этой стране произошла только в итоге Зимних олимпийских игр в Лилиехаммере, когда спортивный триумф заставил часть граждан прекратить разговоры, что “мы – такие же шведы”.

Богатый и политически стабильный западный мир в 1960–1980-е годы признал проблему меньшинств как проблему социальной дискриминации, как проблему особого статуса малых культур и сохранения этнокультурного многообразия населения собственных стран. Со стороны доминирующих обществ и государственных институтов было много сделано по части утверждения доктрины многокультурности и осуществления ряда реформ, в том числе и конституционных (фактическая федерализация постфранкистской Испании с учетом этнокультурного фактора, признание трехобщинной основы государственного устройства Бельгии, Саамский парламент в Норвегии, национальные законы и международные декларации о правах меньшинств и т.п.). Но тот же самый мир западных либеральных демократий не стал занимать саморазрушительную доктрину “многонационально-

сти” и не сдал понятие гражданской многоэтнической нации в пользу этнического понимания данной категории. Более того, сепаратистские движения, а тем более в насильственной форме, были встречены жесткими мерами подавления и принуждения со стороны государственных институтов. Никаких “непредставленных наций и народов” или “наций без государств” западные страны в собственных сообществах не допустили, направив ресурсы и энергию этнических предпринимателей и озабоченной части интеллектуалов на внешний мир. Остался жить в канадской резервации Кахнаваке (а не в “собственном” государстве!) мой личный друг еще по канадским поездкам Большой вождь Джозеф Нортон, отсиживает свой пожизненный срок в американской тюрьме лидер американских индейцев Леонард Пелтиер и надолго замолчал его соратник Рассел Минц, в защиту которых я когда-то написал статью для “Литературной газеты” под названием “Мир должен прийти нам на помощь”. Сошла с политической арены организация “Гавайская нация”, а ее лидер Милани Траск возглавила основанную в Гааге международную “Организацию непредставленных народов и наций”, которая сразу же приняла в свои члены прежде всего радикал-националистов из бывшего СССР, которые хотели говорить от имени “непредставленных” абхазов, чеченцев, чувашей, карачаевцев, балкарцев и т.п.

Таким образом, начавшись на Западе, движение за права меньшинств и их самоопределение обрело в последней трети XX в. широкий международный характер и распространилось на другие регионы мира. И здесь мы наблюдаем достаточно удивительные метаморфозы казалось бы одной из глобальных общественных тенденций прожитого века. Инициаторами и реальными лидерами международного движения меньшинств и близкого ему движения за права аборигенных народов были и остаются западные активисты, к которым добавились в самые последние годы выходцы из стран Латинской Америки, Азии и Океании. Это движение сделало много, чтобы обратить внимание остального мира на ситуации нетерпимой дискриминации и даже геноцида в отношении малых групп. Двое из аборигенных лидеров (индеанка-майя из Гватемалы и два индонезийца из восточного Тимора) даже получили, возможно, вполне заслуженные Нобелевские премии мира за свою деятельность в защиту прав меньшинств. Но каков исторический итог и современный политический смысл политики культурного многообразия?

Не столь богатые страны и не со стабильными центральными правительствами, тем более образованные в XX в. государства из конгломерата бывших колониальных администраций, с огромной озабоченностью встретили политизацию этнических об-

щин и отдельных регионов. Сепаратистские и трайбалистские движения в условиях нищеты, политической нестабильности и отсутствия опыта государственного управления почти повсеместно вылились в насильственные конфликты и затяжные гражданские войны, а также в межгосударственные столкновения. Вторая половина XX в. стала свидетелем действительно глобального явления – это эскалация насилия и войн внутрисоциального характера. Большинство этих войн и конфликтов – это так называемые войны “за идентичность и веру”, т.е. войны за этническое самоопределение, сепаратистские или ирредентистские политические проекты. Часть конфликтов – это вооруженная борьба за власть над центральным правительством разных соперничающих группировок, опирающихся на представителей той или иной этнической или религиозной общины, проживающих в едином государстве. Только за период с 1990 по 1995 г. 70 государств были вовлечены в 93 войны, в которых было убито 5,5 млн человек. Три четверти этих жертв – гражданское население, включая один миллион детей³³.

Еще один итог века меньшинств – это демонтаж почти всех оставшихся в мире колониальных образований (внешне управляемых политически несамостоятельных территорий), распад части многоэтнических государств (СССР и Югославии) или их серьезное ослабление внутренними войнами (Индия, Индонезия, Нигерия и другие). Многими историками и обозревателями этот итог прожитого века представляется как одно из его бесспорных достоинств. Экстраполируя эту тенденцию в будущее и определяя “политику мира для XXI века”, норвежский философ и один из основателей исследований по проблемам мира Йохан Галтунг высказался за глобальную конфедерализацию и создание некоей параллельной организации “объединенных этнонаций”³⁴. Вместе с другими цивилизационными теориями в их глобально-конфликтной интерпретации подобные “стратегии мира” на самом деле являются конфликтногенными интеллектуальными провокациями, которые исходят из простенького постулата, навеянного инерцией холодной войны, что после одной глобальной борьбы (мира капитализма и мира коммунизма) в мировой истории должна наступить другая глобальная форма конфронтации: по линии мировых религиозных систем или по линии этнические общности *versus* государства.

На самом же деле мы имеем несколько другие обозначившиеся мировые тенденции. В последние десятилетия XX в. под давлением этнического партикуляризма и регионального сепаратизма и при мощном внешнем воздействии на этот процесс в мире возникло несколько десятков мелких государств (с населением

меньше одного миллиона человек), которые представляют собой еще в большей степени квазигосударства, чем те, в результате разрушения которых они были образованы. Значительная часть этих государств стала дополнительным бременем для тех простых людей, от имени которых эти малые государства были созданы (содержание госаппарата, армии, посольств, обустройство границ и таможи и прочее). Некоторые из этих стран стали просто вассальными клиентами более состоятельных государств или их международных объединений. Некоторые строят экономику и относительное благополучие на легальном или полуполегальном использовании ресурсов своих соседей и даже тех стран, от которых они отделились. Но самое главное – именно эти полусостоявшиеся новые государства чаще всего становятся частью так называемых серых зон (выражение российского историка Андрея Фурсова), где процветают нелегальные отмывание денег через оффшорные компании, торговля оружием и наркотиками, где находят убежище авантюристы и преступники из других государств.

В настоящий момент мировое интеллектуальное и политическое сообщество еще во многом разделяет идеологию и практику политики меньшинств. В историко-политологических и антропологических конструкциях продолжают пользоваться популярностью созданные главным образом американскими учеными теоретические концепты о “базовых групповых человеческих потребностях” или о “группах риска”. Согласно этим политически корректным и популярным подходам, человеческие коллективы (имеются в виду прежде всего этнические группы) обладают некими природными потребностями, которые не зависят от установок и желаний отдельных людей. Это – стремление к обеспечению выживания, единства, гомогенности, целостности, суверенитета, устранению внешней угрозы и страхов³⁵. Поскольку во многих странах мира меньшинства испытывают нарушения в отношении своих “базовых потребностей”, а также другие формы социальной депривации и политической дискриминации, то они пребывают в состоянии риска и по этой причине могут либо исчезнуть как отличительные общности, либо применить любые формы для защиты своих интересов и изменения статус-кво. Американский политолог Тед Гурр вместе со своими помощниками на основе компьютерной обработки массивной информации по всему миру установил 233 группы меньшинств, которые находятся в состоянии риска³⁶. Эта же методология группового риска была затем использована для еще более амбициозного проекта – определение прочности и перспектив возможного краха тех или иных государств в мире. Достаточно сказать, что для

данного проекта, выполненного по заказу вице-президента США Гора и на деньги ЦРУ, было использовано 2 млн единиц информации по 600 параметрам за исторический период с 1955 по 1994 г. по 180 странам, чтобы установить некие общие закономерности кризиса и возможного краха современных государств³⁷.

Я уже подверг критике данные академические метапроекты применительно к объяснению конфликтов³⁸. Меня интересует прежде всего их предписывающая, конструирующая роль. Мне как редактору энциклопедии “Народы и религии мира” (1998), которая содержит 1250 статей об этнических группах (народах) – и этим список далеко не ограничивается, – трудно себе представить всеобщую переделку политических образований мира по этническим границам, которые крайне подвижны как в смысловом, так и в пространственном аспектах. Здесь присутствует ряд глубоких несоответствий теоретических постулатов с культурными реалиями. Во-первых, сама номенклатура избранного списка меньшинств в “состоянии риска” является крайне условной и явно политически мотивированной: не меньший список можно было бы составить абсолютно из других, политически неактуализированных клиентов. Во-вторых, групповые “базовые потребности”, прежде чем оформиться и осознаваться, должны быть кем-то объяснены и политически оформлены, ибо существует огромное число групп в мире, представители которых переживают еще более серьезные проблемы, но только этого не осознают или признают их как норму, против которой не выступают. Или же эти проблемы есть часть общих проблем остального населения государства. В-третьих, почему признается наличие “базовых потребностей” среди групп меньшинства и отрицается наличие таких же потребностей у групп большинства, тем более, что в современном мире меньшинства не менее часто выступают инициаторами насилия и конфликтов?

Нам представляется, что наступивший новый век будет временем реакции групп большинства на несостоятельные проекты от имени меньшинств по разрушению общего политического пространства вместо улучшения системы правления и культурной политики в рамках общего государства. В настоящий момент все еще господствует метафора “малое прекрасно” (small is beautiful), которой несколько лет тому назад попытался объяснить мне преимущества раздела страны своего происхождения – Чехословакии ныне покойный, выдающийся антрополог Эрнест Геллнер. Значительная часть экспертов и политиков дискутирует главную дилемму мироустройства: быть новым государствам на основе этнического самоопределения и стремления создать культурно-однородные государства вместо многоэтнич-

ных образований, или сохранять и даже укреплять существующую систему, улучшая ситуацию с индивидуальными и коллективными правами человека и социальным обустройством людей. Российский посол во Франции Н.Н. Афанасьевский в марте 2000 г. признался в неофициальном разговоре, что во время его вовлеченности в дипломатические усилия по предотвращению дальнейшей дезинтеграции территории бывшей Югославии известный российский политик (ныне также российский посол в Чехии) Н.Т. Рябов высказал мнение, что “все эти усилия тщетны, ибо пришло время создания моноэтнических государств”³⁹. “Ну так все-таки, каково Ваше мнение, ученых-этнологов, на этот счет?” – спросил посол.

Действительно, трудно противостоять постфактическим рационализациям, которыми сопровождаются процессы разделения государств, этнические чистки и вынужденные переселения, международные операции по миронавязыванию, различные планы и соглашения политиков и дипломатов. Та же многолетняя трагедия на Балканах представляется историками уже как закономерный процесс распада “имперской” Югославской федерации и как закономерная реакция на жестокость “имперской нации” сербов. Уже не так убедительно, но все же часто в подтверждение симпатий к сецессии как некой закономерности приводятся примеры Ольстера, Квебека, Страны Басков и другие. Для нас последние примеры говорят скорее о противоположной исторической тенденции: все попытки на протяжении десятилетий со стороны радикальных этнонационалистов, а тем более сторонников террора, заканчиваются неспособностью мобилизовать на свою сторону большинство населения, для которого они хотят добиться независимости. Государства, в свою очередь, демонстрируют способность к принуждению или к переговорам для сохранения своей целостности, и непохоже, чтобы намечались где-либо пересмотры конституций, которые во всех известных мне случаях не предусматривают самороспуск или разделение государств. Некоторые государства реагируют крайне жестко на мини-национализмы и сепаратизм на подконтрольных территориях (например, Бирма, Индия, Испания, Китай, Турция, Ирак, Конго и другие), некоторые сочетают жесткость с политикой уступок и переговоров (Англия, Бельгия, Мексика, Индонезия и другие). Но никто не признает беспереговорную (явочную) сецессию, включая и международное право. Похоже, именно эта тенденция будет укрепляться в XXI в.

Почему так, если, казалось бы, мир признал благотворность распадов государств в конце XX в. и только немного сожалеет, что не везде удалось это сделать без кровопролития? Некоторые

уже давно называют в очереди на новое государственное самоопределение Косово, Чечню, а за ними десятки новых клиентов в государствах Африки и Азии, где “колонизаторы установили искусственные границы”. Все это представляется как процесс победы демократических принципов и “освободительных движений”, которым бесполезно сопротивляться и которые неизбежно победят в будущем⁴⁰. И все же, почему мир скорее всего будет двигаться в обратном направлении?

Во-первых, еще не пришло время выносить окончательные оценки тектоническим переменам, связанным с распадом государств в конце XX в. Даже расхваленные случаи отделения Эритреи от Эфиопии и “бархатного раздела” Чехословакии сегодня обезображены кровавой войной между двумя африканскими государствами и серьезными осложнениями проблемы венгерского меньшинства в Словакии, не говоря о сохраняющемся массовом удивлении населения, мнения которого инициаторы раздела не спрашивали. Во-вторых, цена, уже заплаченная за раздел вполне легитимного югославского государства с признанными высокими стандартами положения этнических меньшинств, оказалась непомерно высока. Все чаще высказываются мнения историков и политиков, что геополитическая спешка, особенно со стороны внешних игроков, закрыла путь для другой возможной исторической альтернативы – демократических реформ и улучшения системы государственного управления в бывшей Югославии. В-третьих, навязанные внешними силами и сопровождавшиеся массовыми этническими чистками новые государственные конфигурации никак не решили проблемы этнических меньшинств, ибо чем больше новых границ, тем чаще они проходят по границам проживания различных народов и тем больше создается новых меньшинств. Как воспримут будущие поколения жителей этих новых государств границы, вычерченные в госдепартаменте США или во французском замке Рамбуйе, и переживут ли они опыт бессмысленного кровопролития без новых циклов насилия в будущем, остается большим вопросом для наступившего нового века.

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ПОСТСОВЕТСКИЕ ТРАЕКТОРИИ

Если не считать мировые войны, то, пожалуй, самым и драматичными событиями XX в. были возникновение, существование и распад Советского Союза. Эти эпохальные события, и прежде всего распад в 1991 г., были столь значительными, что уже

вызвало огромное число историко-политологических интерпретаций самого разного, в том числе абсолютно противоположного характера. Одни считают весь исторический эксперимент на территории одной шестой части земной суши “советской трагедией” – неким осуществленным большевиками разрывом “естественного” хода истории, который имел результатом более чем 70-летнее существование советской власти как исторической аномалии, которую следовало неизбежно исправить и вернуть Россию на путь “нормального”, цивилизованного развития⁴¹. Другие склонны видеть в этом некий “реванш истории” – своего рода расплату за неосуществленную модернизацию и некий “догоняющий” характер исторического развития России (А.С. Панарин, И.К. Пантин); третьи – географически и культурно детерминированный циклизм российского развития, который из-за недостаточного потенциала приводит к возврату к “исторически более ранним формам” (А.С. Ахиезер)⁴². Имеются попытки осмыслить роль этнокультурного фактора в распаде СССР⁴³.

В мировой литературе, включая исторические сочинения в постсоветских государствах, доминирующая позиция утвердилась за парадигмой “распавшейся империи” – метафорой, в свое время появившейся на обложке книги французского историка Элен Каррер Данкосс, написанной совсем на другую тему⁴⁴. Суть этой парадигмы состоит в том, что СССР был последней в мире “многонациональной империей”, которая самой историей, т.е. в результате национально-освободительных движений, была обречена на распад, как это произошло со всеми другими империями. Эта концепция настолько глубоко утвердилась в зарубежном общественном сознании, что старое и новое поколения исследователей даже не пытаются подвергать его сомнению. Среди американских коллег, например, наглухо забыта работа начала 1980-х годов совместной советско-американской комиссии историков по содержанию школьных и вузовских учебников по истории в обеих странах, которая в своих заключительных выводах назвала некорректной интерпретацию СССР после Сталина как “тоталитарного государства”, не говоря уже об обозначении СССР как “империи”. Рейгановская фраза об “империи зла” воспринималась тогда профессиональными историками в обеих странах как курьез воспаленной политической риторики.

Каковы теоретико-методологические слабости постфактических рационализаций относительно “советской империи”, которые появились уже в период перестройки и мощно обрушились на профессионалов и на массовое сознание после 1991 г.? Во-первых, сама по себе имперская парадигма была как порождением действительно радикальных перемен, так и эмоциональ-

но-политическим орудием этих перемен. Это не просто академический концепт, а мощный идеологический лозунг, вызвавший к жизни новые реалии. Не заявив некоторые очень популярные историки в разгар горбачевской перестройки, что СССР – это историческая аномалия и ему нет места на исторической карте, еще не известно, как без этого самого важного аргумента интеллектуалов осуществлялась бы политическая мобилизация на демонтаж существовавшего политического режима, а вместе с этим и исторического государства. Видеть эту дискурсивную (диалогичную) природу имперской парадигмы, а значит, ее изначальную академическую слабость, в отношении СССР крайне важно. Советский Союз действительно был многоэтничным (на советском жаргоне – “многонациональным”) государством со сложными проблемами взаимоотношений центра и периферии, доминирующей русской (точнее – русскоязычной) культуры и культуры этнических меньшинств, но этого явно недостаточно, чтобы считать его нелегитимным государством, а тем более империей. В таком случае империями следует считать десятки ныне существующих и вполне легитимных государств с аналогичным культурно-сложным составом населения и аналогичными проблемами взаимоотношений центра с периферией и доминирующих групп с меньшинствами (Индия, Индонезия, Испания, Канада, Китай, Нигерия, Пакистан, Турция и десятки других стран). Многоэтничная Испания даже формально имеет королевскую форму правления, но квалифицировать ее как империю никто не торопится. Неужели имперская дефиниция государственной природы СССР так и сохранится в исторических трудах и учебниках XXI в. как наказание за политизированную интеллектуальную импотенцию его исследователей? Не хотелось бы в это верить.

Вторая фундаментальная слабость исторических интерпретаций существования и распада СССР заключается в методологической ловушке самой, как я ее определяю, *революции двойного отрицания*, когда вместе с отторжением и демонтажем существовавшего режима была отвергнута и сама история общества с его нормами, ценностями и повседневностью, которые мало отличали его от многих других обществ. Социально-культурные антропологи и некоторые историки только недавно обратили внимание на то, что подавляющая масса советских граждан в своей повседневности руководствовалась рациональными жизненными стратегиями обеспечения своего социального существования, необязательно вступая в ряды активистов коммунистической партии или в ряды диссидентов. Нам только предстоит придти к выводу о существовании пусть и не “истори-

чески новой”, но все-таки социально-культурной общности под названием “советский народ”. Более того, в подтверждение этого тезиса могу высказать мнение, что эта общность продолжает существовать и себя явно демонстрировать в политическом поведении граждан новых стран по отношению к России и к русской культуре, которое мало в чем отличается от поведения бывших советских меньшинств. Украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы и многие другие, включая и прибалтов, продолжают переживать комплекс “младших братьев” и культурное тяготение к России, несмотря на жесткие установки местных элит радикально дистанцироваться от “колониальной метрополии” и найти новые политические и культурные ориентиры во внутреннем и внешнем мире. Мое участие совместно с Элен Каррер Данкосс в дискуссии по теме “Россия и мир в XXI веке” в 2000 г. в Париже обнаружило, что и эта известная исследовательница России признает данные реалии и, более того, – считает, что определенная культурная и даже политическая реинтеграция на территории бывшего СССР является историческим императивом. В целом я согласен с данной позицией, хотя к императивам в истории отношусь скептически, ибо не только интеграция и согласие, но и самые жестокие конфликты возможны среди культурно-близких народов, и далеко не все запрограммировано в самом процессе исторической эволюции, кроме ее неопределенности.

И здесь скрывается еще одна слабость объяснительных моделей произошедших событий на территории бывшего СССР. Она скорее вызвана традицией отечественной историографии, но с энтузиазмом разделяется и многими зарубежными историками. В позитивистско-марксистской исторической традиции считается как бы вполне естественным объяснять крупные и эпохальные явления и события проявлением глубоких исторических закономерностей, а установление этих закономерностей свидетельствует о силе и глубине исторического анализа. Историческим личностям и историческим случайностям отводится определенная роль, но не более как выразителей исторической необходимости или некой аномалии. Подобный онтологический взгляд на историю предполагает наличие и определяющую роль неких “исторических сил”, которые чаще всего выступают в виде неких коллективных тел под названием “общество”, “народ”, “класс”, “партия”, “движение” и т.п. Более современный и более чувствительный взгляд на исторический процесс предполагает серьезную корректировку некогда основополагающих воззрений на историю и на исторический анализ, особенно применительно к XX в.

Речь идет не просто о признании часто определяющей роли отдельной личности, а тем более элитных групп на ход истории, а как минимум, еще двух обстоятельств, наиболее отчетливо проявившихся в новейшей истории прожитого века. Во-первых, речь идет о все увеличивающейся роли так называемой проектной деятельности людей и социальных сообществ, когда в условиях массового образования и гораздо более плотных информационных коммуникаций идеальные (задуманные, спланированные или импровизационные) элитные проекты оказываются определяющими в крупных исторических свершениях, тем самым вызывая к жизни задуманную к реализации реальность (пусть далеко не в тех же самых образах и формах).

Меня давно интересовал один вопрос, который я, как историк и антрополог, хотел выяснить у некоторых своих коллег по российскому правительству, когда входил в его состав в 1992 г. Я спрашивал Г.Н. Бурбулиса, Е.Т. Гайдара и С.М. Шахрая о том, какие проработки и документы были в их распоряжении, когда готовились и произошли действительно исторические решения в Беловежской пуще по упразднению СССР. Насколько я понял, никаких проработок данных политических решений не было. Более того, был азарт и энтузиазм Б.Н. Ельцина и других республиканских лидеров наказать М.С. Горбачева лишением его власти в Московском кремле, а если окажется возможным для Ельцина – тогда уже президента РСФСР – то и забрать сам Кремль как место государственной власти. Раскол политических элит, в том числе и по республиканско-этническому принципу, а также борьба за обладание Кремлем даже за счет упразднения самого “центра” были важнейшими мотивами действий главных игроков на политической сцене того времени. Еще раньше эту ситуацию сравнил с игрой в шахматы по собственным для каждого игрока правилам Ю.М. Батулин, помощник Ельцина, участвовавших в Новоогаревском процессе⁴⁵.

Закономерно или нет, был ли другой вариант решения или нет, принят был он под влиянием алкогольной интоксикации или нет – все эти вопросы остались для историков, и самые несчастные из них – те, кто безнадежно верит в исторические закономерности. Историю не в меньшей степени делают случайности и импровизации и даже ошибки, которые, возможно, корректнее было бы назвать стохастическими (непредвиденными) последствиями человеческой деятельности. Степень ошибок и стохастики повышается в условиях острых политических и других (например, насильственных) коллизий, когда доступная информация и время для решений ограничены. Ошибки и стохастика в исторических событиях повышаются и тогда, когда имеет место недостаток

компетенции и должной процедуры выработки и принятия ответственных решений и по этой причине число возможных вариантов действий и политических решений кажется крайне ограниченным. Все больше современных политаналитиков и историков приходят к мнению, что существовали варианты сохранения и реформирования СССР, а также набор других политических опций и что выбран был далеко не самый оптимальный, как это уже представляется сегодня. Но в том и смысл истории, что она развивается далеко не по самым оптимальным вариантам, и то, что свершилось, то свершилось, ибо история не переигрывается как шахматная партия. Историкам остаются только анализ и суждения, в том числе и морально-политического толка. Не исключаются, а даже приветствуются и глобальные обобщения. Одно из таких считаю позволительным высказать. Новая Россия возникла не в результате распада СССР, а наоборот, он распался после того, как возникла новая Россия, т.е. после того, как Б.Н. Ельцин и поддерживающие его политические силы фактически одолели союзный центр во главе с Горбачевым, вернее, лишили его способности и воли к сопротивлению и к отправлению власти. Сколько таких случаев знает история? Вероятно, многие сотни и на протяжении очень долгого времени.

И все же какое место занимал и какую роль сыграл этнокультурный фактор в истории Советского Союза и в его распаде? Не все же в новейшей истории страны определяли политики-неофиты с сильной волей и слабой компетенцией, а также энтузиасты радикальных проектов. И здесь мы встречаемся с исторической спецификой, которую я безусловно не отрицаю, а считаю крайне важной для понимания сути событий.

За последние десять лет в моем директорском досье собрано несколько десятков документов, которые исходят от лидеров этнических общин и организаций, от официальных органов – администраций ряда субъектов Российской Федерации или федеральных учреждений, как, например, Министерство по делам национальностей или Госкомстат России. Суть их заключается в просьбах дать заключение Института этнологии РАН о том, существует или нет тот или иной “этнос” как самостоятельный народ со своей собственной историей и отличительным культурным обликом. Один из таких документов – обращение Председателя комитета по геополитике Четвертой Государственной думы – содержал требование дать официальный список “коренных” народов страны, чтобы раз и навсегда положить конец разным дебатам по этому вопросу.

В чем смысл этой потребности людей и групп состояться в истории через академическое признание? Почему, если есть реше-

ние, – есть и народ? Объясняется эта ситуация двумя обстоятельствами. Первое носит общий для всех политических образований характер и связано с тем, что признание коллективных культурных единиц в том или ином государстве имеет прямое отношение к вопросам распределения ресурсов и власти, которые в нынешнем веке перестали быть исключительной собственностью монарха или просто отдельных граждан и их институтов. XX век, особенно его последние десятилетия, стали временем, когда люди задействовали для достижения своих целей и запросов понятие коллективных прав на основе этнокультурной схожести. Вызвано это было процессами развития демократических форм устройства общественной жизни, когда обнаружилось, что обычная представительная демократия, основанная на правах индивида (“один человек – один голос”), не решает многих проблем организации жизни в сложных по культурному составу обществах. *XX век действительно стал веком концепта прав меньшинств, его частичной реализации и признания культурного многообразия.*

Но самое интересное состоит в том, что инициаторами этого признания выступили совсем не либеральные демократии с наиболее развитыми гражданскими институтами и богатыми ресурсами. Одним из бесспорных пионеров этого процесса стал Советский Союз и другие социалистические страны (прежде всего Югославия). Нигде в мире не было страны, где бы не было вложено столько материальных и пропагандистских ресурсов для институализации и спонсирования культурного многообразия, как в СССР. Начиная с 1920-х годов, археологи, историки, этнографы, фольклористы выполнили огромный объем исследовательской работы, чтобы выработать номенклатуру народов – социалистических наций и народностей. Советское государство, несмотря на его декларируемую интернациональную, классовую природу, осуществило этнизацию политики и даже внутреннего административного устройства, что крайне редко позволяют себе современные государства (в прошлом этот фактор в политике практически отсутствовал вообще). В тоталитарных (при Сталине) и в авторитарных (после Сталина) условиях советское государство пошло настолько далеко в экспериментах с этничностью, что спустило крайне важную политическую и эмоциональную метафору нации с общегосударственного уровня на уровень этнических общностей, заменив этот важный пробел государственостроительства пропагандой общесовестского патриотизма, а затем понятием советского народа как “новой исторической общности людей”.

Как справедливо пишет американский историк Рональд Суни, “нация была реальностью и безусловным приоритетом в совет-

ском дискурсе в смысле фиксированной, исторически сформировавшейся и пространственно очерченной группы, привязанной к определенной территории. Со временем национальность стала важным условием получения преимуществ или препятствием в распределении советских ресурсов. Настолько тесно были спаяны политика и национальность в советской системе, что постсоветские игроки оказались в затруднении представить себе какие-либо другие формы осуществления политики⁴⁶. Это противоречивое наследие советской “национальной политики” тот же исследователь довольно точно назвал “реваншем прошлого”⁴⁷. Смысл этой коллизии состоял в том, что советский эксперимент выпестовал периферийный этнонационализм в ущерб гражданской идентичности, исходя отчасти из искренних устремлений устранения неравенства и развития малых культур, а отчасти из пропагандистских установок, чтобы продемонстрировать преимущества социального порядка перед остальным миром (подобными же приоритетами были образование, наука и культура). Но когда пришло время демонтажа единой идеологии и жесткой политической системы, а также время ответственных смыслов касательно “национального самоопределения вплоть до отделения”, тогда этот же этнонационализм стал основным и наиболее понятным средством групповой политической мобилизации для разрушения общего государства. Теория и политическая риторика блестяще выполнили свое предназначение не только отражать, но и конструировать реальность.

ГЕНЕЗИС НОВОГО МИРА

Равно как первое тысячелетие закончилось без каких-либо приметных событий, точно также произошло и со вторым тысячелетием 31 декабря 2000 г. Это всего лишь момент часового циферблата, отсчитывающего историческое время по христианскому Григорианскому календарю – календарю одной из мировых религий, которую исповедует меньшинство современного человечества и которая скорее всего утратит свое доминирующее положение в многокультурном сообществе людей в начавшемся, XXI в. И все же символическая значимость этой даты огромна прежде всего как повод для глобальных размышлений об исторической эволюции человечества, включая перспективу будущего.

Некоторые интеллектуалы-глобалисты, как, например, Мануэль Кастелс, в своей книге “Конец тысячелетия”, обосновывают положение о становлении в конце второго тысячелетия принципиально нового мира. “Начало этому было положено в конце

1960 – середине 1970-х годов историческим совпадением трех независимых друг от друга процессов: информационной технологической революцией, экономическим кризисом как капитализма, так и государства и их последующими структурными изменениями, расцветом таких культурных социальных движений, как освободительные, правозащитные, феминистские и инвайронменталистские. Взаимодействие этих процессов и запущенные ими реакции породили новую доминирующую социальную структуру – “общество неформальных сетей” (network society), новую экономику – информационно-глобальную экономику, и новую культуру – культуру реальной виртуальности”⁴⁸. Нижеследующий анализ представляет собой дискуссию с данными положениями о становлении нового мира. Именно нового мира, а не нового миропорядка как категории более ограниченной и скорее чисто политической.

Итак, Кастелс предлагает по сути историко-антропологическую категорию “нового” среди, казалось бы, всеобщего распространенного бытового мнения, что “нет ничего нового под солнцем”. Что составляет это “новое” в отличие от обычной категории исторических “перемен”, к которой привыкло гуманитарное знание и которая даже имеет свою философско-антропологическую и историографическую проработку?⁴⁹ Тот длинный перечень “нового”, т.е. принципиально отличных от предшествовавших форм социальной жизни и необязательно обусловленных предшествовавшей исторической эволюцией явлений, который приводится многими авторами, представляется достаточно хорошо знакомым. Это – чипы и компьютеры, мобильная телекоммуникация, генная инженерия, глобальные финансовые рынки в реальном времени, планетарный характер капиталистической экономики, сосредоточение большинства рабочей силы в производстве знания и информации в развитых обществах, вызов патриархализму (доминированию мужчин), уход с исторической арены коммунизма и конец холодной войны, появление стран Азиатско-Тихоокеанского региона как равных экономических партнеров, всеобщая озабоченность окружающей средой, общество неформальных “сетей” без привычных пространственно-временных параметров.

Безусловно, вышеназванные разнопорядковые явления представляют собою крупнейшие трансформации последней трети XX в. Однако насколько они порождают принципиально новый человеческий мир и насколько широко распространяются границы этого мира в пространстве Земли?

Компьютерно-информационные технологии не только обрели всеобщий характер, в том числе и в России в последнее деся-

тилетие, но они действительно изменили материальную основу человеческих сообществ, причем не только так называемого индустриального мира. Под их влиянием произошло изменение культурной основы накопления богатства и контроля над ресурсами жизнеобеспечения, характера отправления власти и самого поля власти (не только авторитет, деньги и госправо, но и власть информационного воздействия). Под их влиянием изменился характер производства культурных форм (или кодов), когда способность к данному производству определяется доступностью обществ и индивидов к информационным технологиям. От данных технологий радикально зависят процессы социально-экономических адаптаций и преобразований. Именно эти технологии определили появление таких динамичных и саморазвивающихся форм человеческой деятельности, как сетевые коалиции людей, включая так называемые неправительственные организации или профессиональные объединения, вплоть до мировых сетей соискателей брачных партнеров и любителей анекдотов.

Компьютерно-информационные технологии оказали сильное влияние даже на такие первичные формы социальной организации людей, как семья и родственные коалиции. Физическое пространство не стало уже столь определяющим фактором существования семьи или ее распада, если можно поддерживать более постоянную и более регулярную связь ее членов, когда они находятся вне дома и даже в других регионах мира. Многие современные люди общаются с самыми близкими более интенсивно, чем если бы они пребывали постоянно у “домашнего очага”. Меняется даже представление о “доме” как месте проживания семьи и как об обязательном элементе этого важнейшего социального института. “Дом” сегодня может означать сразу несколько географических локаций, причем необязательно по наиболее распространенной форме “городская квартира – загородный дом”. Но даже и в этой форме, в той же России в последнее десятилетие появилось несколько десятков миллионов (в добавление к уже существовавшим) подобных вариантов семейного проживания хотя бы на летний период. Телефон, прежде всего сотовый, обеспечивает постоянную, в том числе и эмоциональную связь членов семьи.

Однако насколько широко в мире распространились эти нововведения и насколько они преобразовали семейно-бытовую сферу жизни людей? Если анализировать основы семейной жизни в России (далеко не самой бедной страны в мире), то эти преобразования носят поверхностный характер. Три уровня нашего этнографического наблюдения (мещерская деревня, малый уральский город и московский мегаполис) говорят о том, что ин-

формационно-компьютерные технологии не затронули деревенскую жизнь, они почти не пришли в малый город и стали частью жизни меньшинства горожан. Семья как социальный институт почти осталась неизменной в своих базовых формах на протяжении всего XX в., и нет оснований предсказывать ей радикальные изменения в XXI в. Едва ли произошло что-то сильно отличное в английских, итальянских, испанских, кубинских, хорватских, норвежских, индийских семьях, которые я наблюдал в последние два–три десятилетия. Некоторое исключение могут составлять американские семьи и, возможно, японские, но этого недостаточно, чтобы говорить о глобальной мировой тенденции. Вполне возможно, что *традиционализм адаптирует новые технологии более успешно, чем новые технологии меняют саму традицию и социальную организацию человеческого общества*. Есть только очарование нововведениями, желание овладеть ими, но не для того, чтобы изменить нормы жизни, а сделать жизнь “легче”. Но это никак не вписывается в категорию принципиально “нового мира”. В ноябре 1999 г. в вагоне итальянского поезда я наблюдал болтающих по сотовому телефону пассажиров, как если бы это был разговор тех же домочадцев на семейной кухне. Форма была новая, а смысл происходящего – старым.

Что касается мирового рынка капитала, взаимозависимой экономики, новых форм трудового соперничества и организации труда, то здесь есть также глубокие перемены (именно – *перемены!*), но что есть *новое*? Новые производящие сети действительно соединили капитал, труд, информацию и рынок через современные технологии, внедрили новые трудовые функции работающего человека и вовлекли в эти связи огромные регионы мира, включая обширные сибирские просторы или дальние океанические государства. Организованные трудовые коалиции непосредственных производителей и их политическое выражение фактически исчезли, даже в России от некогда всепроникающих профсоюзов осталась только политтусовка в штабквартире на Ленинском проспекте в Москве и разрозненные местные активисты, способные (если благоволят власти) организовать перекрытие железных дорог или постучать касками перед зданием национального правительства. Но вместе с этим вернулось и что-то совсем “старое” как реакция на радикальные перемены.

Новый “реструктурированный” капитализм и глобальный рынок оказались не столь глобальными в социальном и географическом пространстве. Целые группы населения, отдельные территории стран и даже целые страны были выключены из новых экономических сообществ и сопровождающих их ценностей и вознаграждений. Целые города, поселки и даже регионы, не говоря о груп-

пах населения, составили некий “четвертый мир” (кроме известных капиталистического, бывшего социалистического и отсталого, называемого по инерции “развивающегося” мира) – мир маргинальности и надежды подключиться к новому процветанию. Ответом этого “четвертого мира” стало рождение криминальной или “серой” экономики, которая не признает новых сложных и жестких правил игры и предлагает свои собственные, тоже порою жесткие и даже жестокие правила, по которым выстраиваются глобальные сети криминальной экономики и фанатичных ненавистников богатого мира. По большому счету никто этот новый мир не изучал, а в нем заключен свой культурный смысл – это желание уйти от маргинальной бедности и взять на себя роль удовлетворения запретных желаний в благополучном мире.

- ¹ Первый вариант на эту тему был написан в результате приглашения академика Ю.А. Полякова участвовать в подготовке книги очерков ведущих российских историков, посвященных историческому осмыслению XX в. (См.: *Тишков В.А.* Самый историчный век: Диалог истории и антропологии // Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший / Отв. ред. Ю.А. Поляков и А.Н. Сахаров. М., 2000. С. 270–297). Сокращенный текст опубликован в материалах выездного заседания Отделения истории РАН, которое состоялось в Новосибирске 20–22 декабря 2000 г. (См.: *Тишков В.А.* Диалог истории и антропологии на рубеже столетий // Историческая наука на пороге XXI века / Отв. ред. А.П. Деревянко. Новосибирск, 2001. С. 130–144).
- ² *Эванс-Причард Э.* История антропологической мысли. М., 2003. С. 289.
- ³ Там же. С. 291.
- ⁴ *Slezkine Yu.* Naturalists versus Nations: Eighteenth-century Russian Scholars confront Ethnic Diversity // *Representations*. 1994. Vol. 47. P. 170–195.
- ⁵ *Соловей Т.Д.* От “буржуазной” этнологии к “советской” этнографии: История отечественной этнологии первой трети XX века. М., 1998.
- ⁶ *Эванс-Причард Э.* Указ. соч. С. 269–270.
- ⁷ *Бородатова А.А., Абрамян Л.А.* Август 1991: Праздник, не успевший развернуться // *Этнографическое обозрение*. 1992. № 3.
- ⁸ *Handler R.* Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, 1988.
- ⁹ *Эванс-Причард Э.* Указ. соч. С. 287.
- ¹⁰ *Тишков В.А.* Исторические предпосылки канадской революции 1837 года. Автореферат дисс. ... канд. ист. наук. М., 1969; *Тишков В.А.* Страна кленового листа: Начало истории. М., 1977.
- ¹¹ *Семенов Ю.И.* О моем “пути в первобытность” // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы. М., 2003. С. 209.
- ¹² См., например, статьи Н.А. Макарова, В.И. Молодина, Н.А. Томилова в сборнике материалов сессии Отделения истории РАН: Историческая наука на пороге XXI века / Отв. ред. А.П. Деревянко. Новосибирск, 2001; Об исследованиях в области этногенеза и этнической истории см.: *Тишков В.А.* Российская этнология: Статус дисциплины, состояние теории, направления и результаты исследований // *этнографическое обозрение*. 2003. № 5.

- ¹³ *Хакимов Р.С.* Сумерки империи: К вопросу о нации и государстве. Казань, 1993. С. 20.
- ¹⁴ *Хакимов Р.С.* История татар и Татарстана. Казань, 1999. С. 2–3.
- ¹⁵ *Friedman J.* The Past in the Future: History and the Politics of Identity // *American Anthropologist*. 1992. Vol. 94. N 4. P. 837.
- ¹⁶ *Hindess B., Hirst P.* Pre-Capitalist Modes of Production. L., 1975. P. 312.
- ¹⁷ *Sahlins M.* Islands of History. Chicago, 1985. P. 155.
- ¹⁸ *Эванс-Причард Э.* Указ. соч. С. 287.
- ¹⁹ *Kennedy P.* The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. N.Y., 1987. P. 540.
- ²⁰ *Тишков В.А.* Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997; *Tishkov V.* Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union. The Mind Aflame. L., 1997.
- ²¹ *Bourdieu P.* In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology. Stanford, 1990. P. 9.
- ²² *Ibid.* P. 11.
- ²³ См.: *Shnirelman V.A.* The Value of the Past: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. Osaka, 2001; *Шнирельман В.А.* Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М., 2003.
- ²⁴ См.: *Bennigsen A., Wimbush S. Enders.* Muslims and Commissars, Sufism in the Soviet Union. L., 1985; *The North Caucasus Barrier: The Russian Advance Towards the Muslim World / Ed. M. Bennigsen-Broxup.* L., 1992; *Авторханов А.* Империя Кремля. М., 1990.
- ²⁵ Книги Авторханова были известны ранее, но переведены на русский язык в начальный период “перестройки” как одна из акций стирания “белых пятен” в истории. См.: *Авторханов А.* Убийство чечено-ингушского народа. М., 1991.
- ²⁶ *Hobsbawm E.* Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914–1991. L., 1994. P. 585.
- ²⁷ *Castells M.* The Power of Identity. Oxford, 1997. P. 2.
- ²⁸ Критика национальных государств как изживающей себя формы человеческой эволюции высказывалась многими авторами, в том числе и антропологами (этой теме, в частности, был посвящен заключительный доклад на всемирном конгрессе этнологов и антропологов в 1998 г. в г. Уильямсбурге, США), но только почти вся эта критика раздается из сильных и постоянно укрепляющих свои мировые позиции государств.
- ²⁹ Об этом см.: *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года / Пер. с англ. СПб., 1998; *Геллнер Э.* Нации и национализм. М., 1991.
- ³⁰ См. характер и эволюцию аргументов, включая позднее признание нежестокости этноса и нации: *Бромлей Ю.В.* Очерки теории этноса. М., 1983; *Пименов В.В.* Опыт компонентного анализа этноса. Л., 1977; *Козлов В.И.* Этнос. Нация. Национализм. Сущность и проблематика. М., 1999.
- ³¹ См.: *Сельмах В.Г., Тишков В.А., Чеуко С.В.* Тропой слез и надежд: Книга о современных индейцах США и Канады. М., 1990.
- ³² *Trudeau P.E.* Conversations With Canadians. Ottawa, 1970.
- ³³ *Smith D. with Ingstad Sandberg K., Baev P. & Hauge W.* The State of War and Peace. Atlas. L., 1997. P. 13.
- ³⁴ См.: *Galtung J.* Peace by Peaceful Means. Peace and Conflict, Development and Civilization. L., 1996.

- ³⁵ *Burton J.* Resolving Deep-Rooted Conflict. A Handbook. Lanham, 1987.
- ³⁶ *Gurr T.R.* Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Wash., 1993.
- ³⁷ *Easty D., Goldstone J., Gurr T.R., Harff B., Levy M., Dabelko G., Surko P. & Unger A.* State Failure Task Force. Wash., 1998.
- ³⁸ *Tishkov V.A.* Ethnic Conflicts in the Former USSR: The Use and Misuse of Typologies and Data // *Journal of Peace Research.* 1999. Vol. 36. № 5. P. 571–591.
- ³⁹ Частная беседа с Н.Н. Афанасьевским. Париж. 8 марта 2000 г.
- ⁴⁰ В отечественной литературе подобную позицию последовательно занимала покойная Г.В. Старовойтова, и сторонники такой точки зрения довольно многочисленны.
- ⁴¹ Из наиболее глубоких интерпретаций подобного характера см.: *Malia M.* The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991. N.Y., 1995. P. 575.
- ⁴² См., например, специальный номер журнала “Pro et Contra”, посвященный истории российских реформ (Vol. 4. № 3).
- ⁴³ *Чеушко С.В.* Распад Советского Союза. 2-е изд. М., 1999.
- ⁴⁴ *Carrere d’Encausse H.* L’empire éclaté. P., 1978.
- ⁴⁵ См.: Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты о политике М.С. Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. М., 1995. С. 172–186.
- ⁴⁶ *Suny R.G.* Southern Tears: Dangerous Opportunities in the Caucasus and Central Asia // *Russia, The Caucasus, and Central Asia. The 21st Century Security Environment* / Ed. R. Menon, Y.E. Fedorov, and G. Nodia. Armonk; New York, 1999. P. 153.
- ⁴⁷ *Suny R.G.* The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1993.
- ⁴⁸ *Castells M.* End of Millenium. The Information Age: Economy, Society and Culture. L., 1998. Vol. 3. P. 336.
- ⁴⁹ См., например: *Eisenstadt S.N.* Tradition, Change and Modernity. N.Y., 1973.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(В.С. Малахов. Валерий Тишков
и методологическое обновление
российского обществоведения*)

Исследователей, представляющих новаторские подходы в общественных науках, редко встречают благожелательно. Коллеги отвечают им либо остракизмом, либо игнорированием. Это, разумеется, не может помешать тому, что идеи, предлагаемые новаторами, постепенно усваиваются научным сообществом. Мне кажется, именно так произошло с В. Тишковым. С одной стороны, многочисленные ортодоксы, на которых его имя долго действовало раздражающе, с другой – широкий круг публикаций, в которых звучат идеи и положения, введенные в научный оборот именно им. О методологическом обновлении российского обществознания и о вкладе, внесенном в этот процесс трудами В. Тишкова, и пойдет речь ниже.

Метод, который он сам называет “историко-ситуативным”, восходит к традиции социального конструктивизма, заложенной еще в конце 1960-х годов П. Бергером и Т. Лукманом и продолженной в последующие десятилетия целой плеядой обществоведов, самый знаменитый из которых Пьер Бурдьё. Оппоненты В. Тишкова приложили немало усилий для того, чтобы вульгаризировать отстаиваемый им подход, сведя конструирование к фабрикации. Однако ничего подобного данная методология не предполагает. К числу ее базисных допущений относится лишь утверждение, что общественно-исторические явления суть продукты человеческих действий (и в этом смысле они – социальные конструкты).

Это – первая и главная особенность социального конструктивизма как методологической установки. Вторая его особенность состоит в последовательном проведении той мысли, что социальная реальность *неотделима от ее понятийных определений*, т.е. от тех категорий, которыми пользуются агенты социального действия. Общественно-историческая действительность в известном смысле творится, производится (если кому-то не нравится

* Вариант этой статьи был опубликован в журнале “Общественные науки и современность” (2002, № 5) под названием “Новое в междисциплинарных исследованиях (Историко-ситуативный метод в работах В. Тишкова).

слово “конструируется”) человеческими представлениями. Это относится прежде всего к представлениям, вырабатываемым обществоведами, а также к представлениям, которыми руководствуются лица, ответственные за принятие решений.

Красноречивой иллюстрацией данного положения могут послужить существующие в тот или иной период номенклатуры народов. На уровне обыденного сознания количество “наций и народов”, живущих на определенной территории, выглядит как некий непреложный факт, который ученым предстоит зафиксировать. Между тем как раз ученые вместе с государственными чиновниками и общественными активистами есть та инстанция, которая этот факт производит. В обществе глубоко укоренена вера в то, что можно правильно подсчитать, сколько “на самом деле” живет в России или и в отдельных ее регионах народов (“этносос”, “субэтносос” и “этнографических групп”), и если до сих пор такие подсчеты страдали приблизительностью и противоречивостью, то объясняется это неточностью, “ненаучностью” методики их проведения. Опираясь на многолетний опыт научной и, что не менее важно, – административной – работы, В. Тишков показывает наивность такой веры. Номенклатура народов, принимаемая за истинную и окончательную в данный момент в данных обстоятельствах, определена не “объективным положением дел”, а *процедурами*. Это, во-первых, классификации, предлагаемые учеными (этнографами, лингвистами, историками), во-вторых, механизмы переписи, устанавливаемые государством, и, наконец, в-третьих, административные решения.

Из положения о конструктивной природе социальной реальности вытекают два существенных момента теоретико-методологических разработок В. Тишкова. Это (а) отход от нерелективного детерминизма российской – советской и постсоветской – историографии и (б) пересмотр эссенциалистской традиции отечественной культурной антропологии (этнографии). Охарактеризуем каждый из этих моментов.

Интеллектуальную традицию, в оппозиции к которой находится В. Тишков, сам он называет “позитивистски-марксистской”, имея в виду, очевидно, ту ее особенность, что, несмотря на декларируемый марксизм, в методологическом отношении отечественное обществознание вообще и историческая наука, в частности, были оплодотворены скорее позитивизмом, чем марксизмом. По сути объектом полемического размежевания для В. Тишкова выступает позитивистский историзм. Впрочем, в своей трактовке историзма он близок к К. Попперу: для него историзм сводится к *вере* в наличие исторических закономерностей. Нередко там, где историки усматривают проявление того или

иною закона, на деле имеет место проявление устойчивого навыка мышления, который В. Тишков называет *постфактическими рационализациями*. Исследователи задним числом объясняют произошедшее как результат действия некоего закона, тогда как в реальной динамике событий налицо столкновение многих сил и тенденций, и от того, что одна из них возобладала, вовсе не следует, что она *должна* была возобладать. Характерный пример постфактического рационализирования – объяснение распада Югославии и СССР и раздела Чехословакии как предрешенных. На самом деле в истории ничего не предрешено. Единственная историческая закономерность, в которую верит В. Тишков, – это неопределенность истории, ее открытость. Ремесло историка – в открытии и описании исторического контекста, в изучении имевшихся “опций” (исторических вариантов). Последнее, правда, нужно не для того, чтобы попытаться отыграть назад то, что случилось, повернуть историю вспять. Изучение *имевшихся* опций необходимо В. Тишкову для уразумения *имеющихся* на сегодняшний момент возможностей действия.

Антидетерминизм не означает тотального субъективизма и релятивизма. Отказ от поиска универсальных всеобъясняющих законов истории не есть отказ историка от обобщений, в том числе глобальных. Пример такого рода обобщений – вывод В. Тишкова о том, что “новая Россия возникла не в результате распада СССР, а, наоборот, СССР распался после того, как возникла новая Россия, т.е. после того, как Б.Н. Ельцин и поддерживавшие его политические силы фактически одолели союзный центр во главе с М.С. Горбачевым, вернее, лишили его способности и воли к сопротивлению и к отправлению власти”¹.

В противоположность свойственному историкам тяготению к крупномасштабным историческим явлениям, внимание ученого сосредоточено на “микроистории”, а именно: на уровне индивидуальных решений и действий. Его интересуют прежде всего *частные стратегии* индивидов как агентов социального действия. Вот почему В. Тишков называет себя социальным историком. Кстати, такое обозначение избранного направления исследований позволяет ему элегантно решить проблему двойной профессиональной лояльности – истории и антропологии. Социальная история находится на стыке обеих дисциплин. Впрочем, условность междисциплинарных членений в современной общественной науке давно сделалась очевидной. Социальная антропология, культурная антропология (более или менее совпадающая с этнографией), историческая антропология – эти и другие обозначения служат скорее самоидентификации ученых, чем характеристикой “объективной” цеховой принадлежности проводимых

ими исследований. Чем более творческий характер носит работа обществоведа, тем меньшее значение имеют для него междисциплинарные перегородки. Работы В. Тишкова 1990-х годов – прекрасная тому иллюстрация.

Одну из своих последних книг он назвал “Политическая антропология”. В чем продуктивность этого исследовательского направления и в чем его отличие от обычной политологии или от только что упомянутой социальной антропологии? Предмет политической антропологии – человеческое измерение политического и политическое измерение человеческого. С одной стороны, человеческое существование, не только на социально-культурном, но и на бытовом уровне, пронизано политикой. В той мере, в какой индивиды и группы вступают в отношения по поводу власти, они вступают в политические отношения, с другой – политическое имеет антропологическую составляющую. Политическое поведение людей определяют не только объективные интересы, но и субъективные идиосинкразии, представления о нормах и т.д. Внимание В. Тишкова сосредоточено как раз на этом взаимопереплетении различных факторов. *Что* в каждом отдельном случае лежит в основе принятия решений – ответ на этот в высшей степени не простой вопрос и стремится дать ученый в своих работах, посвященных антропологии конфликта, насилия и власти.

Обстоятельство, которое не устает подчеркивать в своих исследованиях В. Тишков – это исключительная роль, принадлежащая в политической жизни интеллектуальным элитам. Во-первых, они консультируют политиков, принимающих решения. Во-вторых, своим воздействием на общество через массмедиа они осуществляют коллективную мобилизацию. Наконец, идеологическими конструкциями, которые интеллектуалы забрасывают в массы, они определяют направление трансформации общественного сознания. Примером может послужить метафора распада империи. Не будь глубоко проникшей в сознание общества – как на уровне политических элит, так и на уровне “населения” – уверенности в том, что СССР является нежизнеспособным монстром, дни которого сочтены, не случилось бы и краха государства. Процесс его преобразования принял бы иные формы. Другая красноречивая иллюстрация огромной роли интеллектуалов – влияние книги А. Авторханова об истории “народоубийства” чеченцев и ингушей на рост сепаратистских настроений в Чечне в начале 1990-х годов.

Социальный историк в В. Тишкове провоцирует его на явную или неявную полемику с “объективистской” школой исторических исследований. “Такой подход, – пишет он, имея в виду объе-

ктивистскую методологию, – игнорирует объяснение, основанное на ... частной стратегии и личностной мотивации, на роли постоянно меняющихся диспозиций участников социального пространства, в том числе в сфере властных взаимоотношений, и, наконец, на роли случайных, эмоционально субъективных и моральных побуждений и действий”². В предлагаемом им объяснении конфликта в Чечне В. Тишков более склонен анализировать “амбиции лидеров и моральные установки на реванш после пережитой коллективной травмы”, чем глубинные культурно-исторические структуры или “цивилизационные разломы”.

Наивной вере в историческую науку как простое отражение “реальности” В. Тишков противопоставляет понимание исторического знания как интегративной части конституирования исторической реальности. Ученый исходит из того, что “история как осмысленная версия – это современный ресурс, и в принципе каждое новое поколение пишет свою собственную историю, как и в каждом поколении присутствуют конкурирующие версии с разными шансами стать если не единственными, то хотя бы доминирующими”³. Историческая реальность не существует как таковая, вне и независимо от человеческих представлений о ней. Огромная роль в формировании этих представлений принадлежит историкам. Предлагаемые ими изображения произошедшего суть не что иное, как концепции последнего; события прошлого никогда не предстают в историческом описании в некоем “чистом” виде. *Stories*, рассказываемые нам историками, не следует принимать за *History*. “История – это почти всегда призыв и предписание и это всегда – субъективный взгляд”⁴.

Дискурсивная организация общественно-исторической реальности для В. Тишкова не просто абстрактный теоретический постулат, а рабочая гипотеза, продуктивность которой он постоянно доказывает в ходе конкретных исследований. Так, в “Очерках теории и политики этничности в России” и в англоязычном труде “Пожар в умах” (*The Mind Aflame*) В. Тишков анализирует практику “этнической инженерии” советских лет и вклад, внесенный в нее интеллектуалами. Читатели этих работ найдут много неожиданных и поучительных сведений о том, как “народы” и “народности”, в объективном существовании которых мало кто сомневается, *создавались* политиками, в свою очередь консультировавшихся с историками, лингвистами и этнографами. О том, как чертились и перечерчивались границы, вызывая к жизни или, напротив, обрекая на небытие общности, которые привычно называют “этнотами”⁵.

В. Тишков сыграл большую, до сих пор недооцененную роль в пересмотре отечественной традиции в изучении этничности.

Его усилиями отечественная этнология, базирующаяся на эссенциалистской школе академика Ю.В. Бромлея, обогащается более гибкими и отвечающими современной реальности методами. К числу таких методов относится, в частности, социальный конструктивизм. Опираясь на этот метод, В. Тишков обнаруживает *социальные отношения и социальные формы* там, где коллеги-этнографы привыкли видеть естественные образования (именно так мыслятся этносы в эссенциалистской интерпретации). Теория этноса, развитая Ю. Бромлеем и его последователями, определена понятием *организм*. Этносы (равно и “нации”, рассматриваемые в этой традиции как результат развития этносов) выступают здесь как биосоциальные целостности. Сколько бы оговорок ни делалось при этом о важности социального наряду с биологическим, органицистская логика имеет здесь решающее значение. Этносы мыслятся по аналогии с живыми существами, рождающимися, проходящими стадии формирования, расцвета и упадка и т.д. Отсюда огромная популярность в России сочинений Л. Гумилева, причем далеко за пределами академической среды. Сегодня сотни журналистов и десятки радио- и телеведущих сознательно или бессознательно воспроизводят гумилевские штампы, рассуждая о “пассионарности” народов, их “судьбе” и роковой предопределенности дружить с одними и воевать с другими.

В российском общественно-политическом дискурсе – как на уровне элит, так и на уровне так называемого массового сознания – широко распространено представление об особой деликатности “национального вопроса” и “национальных отношений” (под первым из этих терминов имеют в виду проблему этнических меньшинств, под вторым – межэтнические отношения). На этом фоне трудно, если вообще возможно, отстаивать конструктивистские взгляды. Ученый, однако, убежден, и не устает убеждать других в том, что “то, что часто выдается за исключительную чувствительность этнического самосознания к внешним оценкам, не есть порождение глубинных структур сознания или выражение этнической психологии, а выученная из публичных деклараций и даже из академических текстов позиция”⁶.

На рубеже 1980–1990-х годов, когда на российском книжном рынке появился внушительный массив переводов обществоведческих текстов, прежде неизвестных отечественной аудитории, многим казалось, что эссенциалистскую традицию удастся переломить. Но этого не произошло. Место, освободившееся после краха прежних основ коллективистских стратегий (“развитой социализм”, “советский патриотизм”, “моральный кодекс строителя коммунизма” и пр.), было тут же занято этническим национализмом. Этничность как форма групповой солидарности оказа-

лась настолько эффективной в организации политического действия, что всякая попытка ее деконструкции средствами научного анализа почти обречена на непопулярность. Представители интеллектуального сообщества и тем более люди с улицы восприняли этнонационализм, восторжествовавший после распада СССР, не иначе как выражение “триумфа наций”. Голос В. Тишкова, не раз замечавшего, что речь на самом деле идет о триумфе самой метафоры “*триумф наций*”, заглушил тогда хор голосов интеллектуалов и политиков, мыслящих в эссенциалистском ключе.

Этничность в рамках эссенциалистского мышления выступает как некое архетипическое явление, без обращения к которому невозможно полноценное социальное знание (от этнологии и психологии до социологии и политологии). Отсюда целая череда конструктов этнографического романтизма – таких, например, как “чеченство”, – которые предстают в публичном дискурсе как отражение генетических и архаических социокультурных реалий. Этнографы, увлеченные описанием чеченцев, как “уникального этноса”, и начитавшиеся их трудов журналисты убедили большую часть общественности в том, что вооруженная борьба чеченцев с государством – проявление загадочного древнего народа, который невозможно заставить жить в рамках современных правовых и моральных норм, что в основе конфликта лежит непонятый и плохо изученный феномен “военной демократии” и т.д. Между тем феномен “чеченства” не породил войны – напротив, сам этот феномен порожден войной. Он был сконструирован в ходе конфликта. Он имеет не культурную (историческую), а *политико-идеологическую* природу, ибо создан из историко-культурного материала для *современных* политических целей.

Принципиальное положение В. Тишкова относительно природы этничности состоит в понимании последней как *формы социальной организации культурных различий*. Для определения этнической группы недостаточно набора “объективных” черт, некоего “культурного материала”, находимого этнографами. Этнические общности определяются прежде всего по тем характеристикам, которые сами члены группы считают для себя значимыми. Решающий признак существования той или иной этнической группы – наличие этнического самосознания, т.е. готовности индивидов, относимых к данной группе, считать себя членами такой группы. Правда, во избежание недоразумений, следует сразу оговориться, что В. Тишков не редуцирует этничность к этническому самосознанию. Понимание этнической группы как социального конструкта предполагает следующие допущения. Во-первых, этнические группы во многих случаях суть *ин-*

ституциональные образования: в бывшем СССР и в современной России этничность, благодаря государственной поддержке, – один из самых эффективно функционирующих институтов. Во-вторых, реальность этничности есть *реальность отношений*: в той мере, в какой социальное взаимодействие организовано как взаимодействие между такими группами, эти группы обретают самый что ни на есть реальный статус. В-третьих, организация любых человеческих коалиций (этнических в том числе) “определяется их целями и стратегиями, среди которых важнейшую роль играют организация ответов на внешние вызовы через солидарность одинаковости, общий контроль над ресурсами и политическими институтами и обеспечение социального комфорта в рамках культурно-гомогенных обществ”⁷⁷.

Таким образом, дело заключается в примате отношений над образами: в уразумении того обстоятельства, что категории знания (будь то “этнос”, “класс” или что-то еще) фиксируют в конечном итоге человеческие отношения. В противном случае обществоведам грозит опасность *реификации* – восприятие явлений, за которыми стоят человеческие действия, в качестве существующих самих по себе феноменов.

Осмысляя проблематику этничности в конструктивистских категориях, В. Тишков имел мужество пойти против течения, бросив вызов целой армии “специалистов по национальному вопросу”. Своими публикациями автор навлек на себя гнев полководцев этой армии, которые после кончины “научного коммунизма” переквалифицировались в “политологов”. Его ругали за субъективизм и постмодернизм, за односторонность и недialeктичность, даже за недостаток патриотизма. Столь трудное восприятие выдвинутого Тишковым тезиса коренится в недоразумении. Ученый выступает как раз за национальную государственность (в противовес этнократической), за национальные интересы (в противовес узкогрупповым, и в частности этническим), за *национальную общность* (которую нельзя подменять этнической).

Однако возникновение этого недоразумения в высшей степени не случайно. Оно иллюстрирует одну из любимых мыслей Тишкова: слова воздействуют на практику. Теоретические концепты могут непосредственно или опосредованно определять практические, в том числе политические решения. Устаревшие и неточные, но окруженные аурой научности слова-концепты *заключают в себе программу действий*. Яркий тому пример – название ведомства в правительстве Е. Гайдара, возглавить которое в 1992 г. пригласили В. Тишкова: “Государственный комитет по национальной политике”. Поскольку “национальная полити-

ка” во всем мире означает *государственную* политику (так же как “национальные интересы” означают государственные интересы) и поскольку от данного учреждения ожидали совсем иного рода деятельности – регулирования межэтнических отношений и обеспечения прав этнических меньшинств, – В. Тишкову пришлось потратить немало сил, чтобы переименовать свое ведомство в “Государственный комитет по делам национальностей”. Но даже в новой, более мягкой редакции это словосочетание содержит весьма специфический смысл: существование изолированных, фиксированных “национальностей” (эвфемизм для “наций”, понимаемых в качестве “этносов”), у которых есть особые “дела”. Тем самым энергия людей и огромные административные ресурсы направлялись в сомнительное русло – на улаживание трений между конкурирующими друг с другом этническими группами, вместо того чтобы способствовать консолидации России как национальной общности.

Читая последние работы В. Тишкова, прежде всего “Общество в вооруженном конфликте”, трудно избавиться от ассоциации со знаменитым наброском Ф. Ницше “О пользе и вреде истории для жизни”. Именно так хочется назвать исследование В. Тишковым первой чеченской войны. Ученый скрупулезно воспроизводит историю конфликта, не впадая при этом в “историзм”. Он убежден в том, что нельзя рассматривать произошедшее в русле *ретроспективного упорядочения*, организуя факты прошлого таким образом, чтобы они выстраивались в линию, неизбежным образом ведущую к событиям, происходящим в настоящий момент. Историки, иногда невольно, а порой вполне сознательно способствуют признанию политических структур, легитимность которых весьма сомнительна. Так случилось и с ситуацией в Чечне: стоило прозвучать декларациям о независимости, как тут же появились научные обоснования ее неизбежности.

Вред, наносимый историческим нарративом в случае его неумелого использования, заключается, таким образом, в придании респектабельности эфемерным политическим режимам, какими, безусловно, были режимы Дудаева и Масхадова. Более того, история, превращаясь в “ретроспективную телеологию” (выражение А. Альтюссера), служит дурную службу общественному сознанию: она укрепляет веру в запрограммированность определенного варианта развития событий, а значит – блокирует иные варианты, парализуя активность индивидов. Люди начинают всерьез верить, например, в то, что переход от полиэтнических (так называемых многонациональных) государств к моноэтническим – неизбежная тенденция современности. А когда такая вера

охватывает умы тех, кто принимает решения, она чревата тяжелыми политическими последствиями.

Это о том, что касается “вреда истории”. Есть ли от нее польза? Вопрос, разумеется, риторический. В. Тишков отдает должное истории как мощному объяснительному и мобилизационному ресурсу, а также как одному из жанров научного творчества, но призывает к крайней осторожности в обращении с ней. Исторические экскурсии важны и необходимы при условии, если те, кто их производит, помнят о том, что вовсе не на все вопросы настоящего есть ответ в прошлом; что отнюдь не все проблемы сегодняшнего дня могут быть поняты как развертывание проблем дня вчерашнего или как выход наружу противоречий и конфликтов, находившихся до поры до времени в латентном состоянии. К сожалению, именно такая методологическая посылка часто лежит в основе анализов социально-политических ситуаций современности, предлагаемых обществоведами.

В противоположность наивно-историцистскому сознанию В. Тишков, прибегая к историческим экскурсам, следит за тем, чтобы они не превращались в универсальную объяснительную модель. Анализируя такие события, как депортация 1944–1957 гг. или насильственная коллективизация 1930-х годов, он избегает какого бы то ни было мифологизирования. Его интересуют факторы, оказавшие воздействие на формирование современного культурного сознания чеченцев. Политика “коренизации” 1920–1930-х годов, индустриализация и связанная с ней урбанизация общества, функционирование в Чечне (Чечено-Ингушетии) институтов социализации, характерных для советского государства в 1950–1980-е годы – все это, как показывает В. Тишков, способствовало глубоким изменениям чеченского общества и чеченского “менталитета”. Причем эти изменения носили столь принципиальный характер, что портретирование чеченцев в жанре этнографического романтизма (в качестве гордых и благородных горцев или в качестве мстительных, не затронутых цивилизацией дикарей) – это в лучшем случае наивность, а в худшем – провокация. Анализ ситуации в Чечне, равно как и в других регионах постсоветского пространства, приводит ученого к выводу, что “исторический и этнический факторы не лежат в основе конфликтов в регионе бывшего СССР, включая Чечню и в целом Северный Кавказ. Это прежде всего современные конфликты современных участников (актеров) социального пространства и по поводу современных проблем и устремлений”⁸.

Что касается культурного многообразия, то в этом вопросе В. Тишков – категорический противник тех, кто связывает возникновение конфликтных ситуаций с многоэтническим составом

населения. Само по себе культурное многообразие не является источником конфликта. Но культурная отличительность может использоваться для канализирования деструктивного политического действия. Проводниками такого действия выступают не только местные политические и финансово-экономические элиты, но и так называемые внесистемные активисты. К их воздействию на динамику конфликта автор относится с особым вниманием. К числу новых выводов Тишкова принадлежит заключение, согласно которому одной из наиболее важных причин возникновения политического насилия является недостаточная информированность акторов и недостаточная компетентность лидеров: многие конфликты выливаются в насилие потому, что люди не знают об имеющихся у них альтернативах действиях.

В работах В. Тишкова, посвященных анализу насилия и конфликта, проводится мысль о *дискурсивной природе* этих феноменов. Данный тезис вновь возвращает нас к теме конструирующей роли обществознания в организации социальной реальности: схемы, создаваемые учеными, имеют, наряду с объяснительной, предписывающую функцию. И здесь полемика автора перемещается с российских на западных коллег. Так, модель “меньшинств”, лежащая в основе построений многих западных обществоведов, в конечном итоге служит политическим целям: поддерживать притязания меньшинств (прежде всего этнических), направленные против того или иного “подавляющего” их большинства (прежде всего государства). Иначе, чем политико-идеологическими пристрастиями, не объяснить то обстоятельство, что западные антропологи настаивают на термине “национальные меньшинства” или “нации” применительно к России, тогда как в отношении собственных стран предпочитают вести речь об “этнических” и “культурных” группах.

В. Тишков энергично противостоит реификации понятия “меньшинство”, понятия, приобретшего популярность в социальной и культурной антропологии последних лет. Меньшинства (от лингвистических, этнических и расовых до субкультурных и сексуальных) превратились в сакральный объект сегодняшнего академического дискурса. В. Тишков решается на отстаивание непопулярной среди западных антропологов позиции, согласно которой XXI век – в отличие от XX, который был “веком меньшинств”, – должен стать “веком большинства”. По мнению ученого, лозунги защиты меньшинств настолько часто приводят к нарушению прав большинства, что настало время поставить вопрос о защите “большинства” от агрессивного напора “меньшинств” – точнее от напора амбициозных лидеров последних, умело пред-

ставляющих собственные корпоративные интересы в качестве интересов целой социальной группы.

Другой оселок, на котором В. Тишков опробует аналитический потенциал конструктивистского подхода, – феномен диаспоры. Обычные дефиниции определяют диаспору как совокупность людей единого этнического происхождения, живущую за пределами своей исторической родины. Некоторые ученые пытаются выделить признаки диаспоры. Однако под идеальный тип не подходит ни одна из существующих на сегодня диаспор. Члены определенной группы могут быть хорошо интегрированы в культурное и политическое сообщество принимающей страны и вообще не иметь никаких связей с “исторической родиной”, а, тем не менее, проявлять “диаспорное поведение”. В противовес исследователям, ищущим объективные характеристики диаспоры, В. Тишков акцентирует внимание на том обстоятельстве, что диаспора конституируется в первую очередь через самоидентификацию индивидов, относимых к данной группе. Однако эта самоидентификация отнюдь не всегда является добровольной: часто она навязывается индивидам окружением или представляет собой результат предписания.

Индивиды и группы, которые внешним взглядом определяются, например, как “индийцы”, настолько отличны друг от друга в культурно-языковом отношении, не говоря уже о конфессиональных и кастовых различиях, вряд ли когда-либо согласились бы считать себя членами одной группы. “Индийцами” они становятся под взглядом принимающего общества. Другой существенный момент формирования диаспоры – коллективная память: готовность некоторой совокупности людей идентифицироваться с определенной версией общего прошлого. Третий и, пожалуй, решающий момент в концепции диаспоры, предлагаемой Тишковым, – понимание диаспоры в качестве *политического проекта*. То, что позволяет отнести ту или иную группу мигрантов к диаспоре, зависит в конечном итоге не от некоего набора объективных культурных черт, а от стратегий социального поведения индивидов. Само по себе происхождение из одного и того же культурно-языкового ареала не влечет за собой их объединения в группу, называемую диаспорой. “Диаспору объединяет и сохраняет нечто большее, чем культурная отличительность. Культура может исчезнуть, а диаспора – сохраниться, ибо последняя как политический проект и жизненная ситуация выполняет особую по сравнению с этничностью миссию. Это – политическая миссия служения, сопротивления, борьбы и реванша”⁹.

Отдельного упоминания заслуживает обращение В. Тишкова к антропологии повседневности. В противовес политическим

метафорам (“всеобщий ГУЛАГ”, “тюрьма народов”, “советская империя”) он показывает нормальность того общества, которое существовало в советские времена. Во-первых, СССР как государство, при всех аномалиях и деформациях, был не менее легитимным государством, чем многие другие. Во-вторых, тип социальности, сложившийся в Советском Союзе, характеризовался чертами, которыми обычно описывают так называемые нормальные общества: цели, которыми люди руководствовались в повседневной жизни, функционирование различных форм социальных объединений, формы поведения, – во всех этих проявлениях советский человек был более сходен с жителями так называемых нормальных стран, чем отличен от них. Однако постсоветская наука часто сводит многообразие и сложность советской жизни к публицистическим клише. Эта же редукция происходит и сейчас, когда исследователи (не говоря уже о публицистах) не желают видеть позитивные трансформации российского общества, продолжая упорно повторять штампы о “преступном режиме” и “обнищании народа”.

Надо сказать, что воздействие публикаций В. Тишкова на российские общественные дискуссии не ограничивается академической средой. Многие идеи, высказанные им в бытность федеральным министром и в период работы над доктринальными документами в первой половине 1990-х годов, звучат сегодня из уст чиновников, которые в те годы воспринимали его позицию в штыки. Горячий полемист и проницательный исследователь, В. Тишков часто излагает свой взгляд на актуальные общественные проблемы в средствах массовой информации. Однако уединение кабинета ему, похоже, ближе, чем суета публичного пространства, а теория милее, чем практика. Правда, как любит говорить сам В. Тишков, нет ничего практичнее хорошей теории.

¹ *Тишков В.А.* Политическая антропология. Льюистон; Нью-Йорк, 2000. С. 43.

² *Тишков В.А.* Общество в вооруженном конфликте: Этнография чеченской войны. М., 2001. С. 45.

³ *Тишков В.А.* Политическая антропология. С. 20.

⁴ Там же. С. 21.

⁵ *Tishkov V.A.* Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame. L., 1997. P. 24–83.

⁶ *Тишков В.А.* Политическая антропология. С. 69.

⁷ Там же. С. 70–71.

⁸ *Тишков В.А.* Общество в вооруженном конфликте. С. 61.

⁹ *Тишков В.А.* Политическая антропология. С. 157.